

Владимир ЧУГУНОВ

*с. Николо-Погост**Нижегородской области*

Ш

Н

О

М

А

1

Всё началось с телефонного звонка. В понедельник позвонил бывший одноклассник, друг детства, и сообщил, что двадцать третьего апреля, в пятницу, будет отмечаться семидесятилетие школы, которую мы окончили тридцать девять лет назад, соберутся выпускники всех лет, «хорошо бы увидеться».

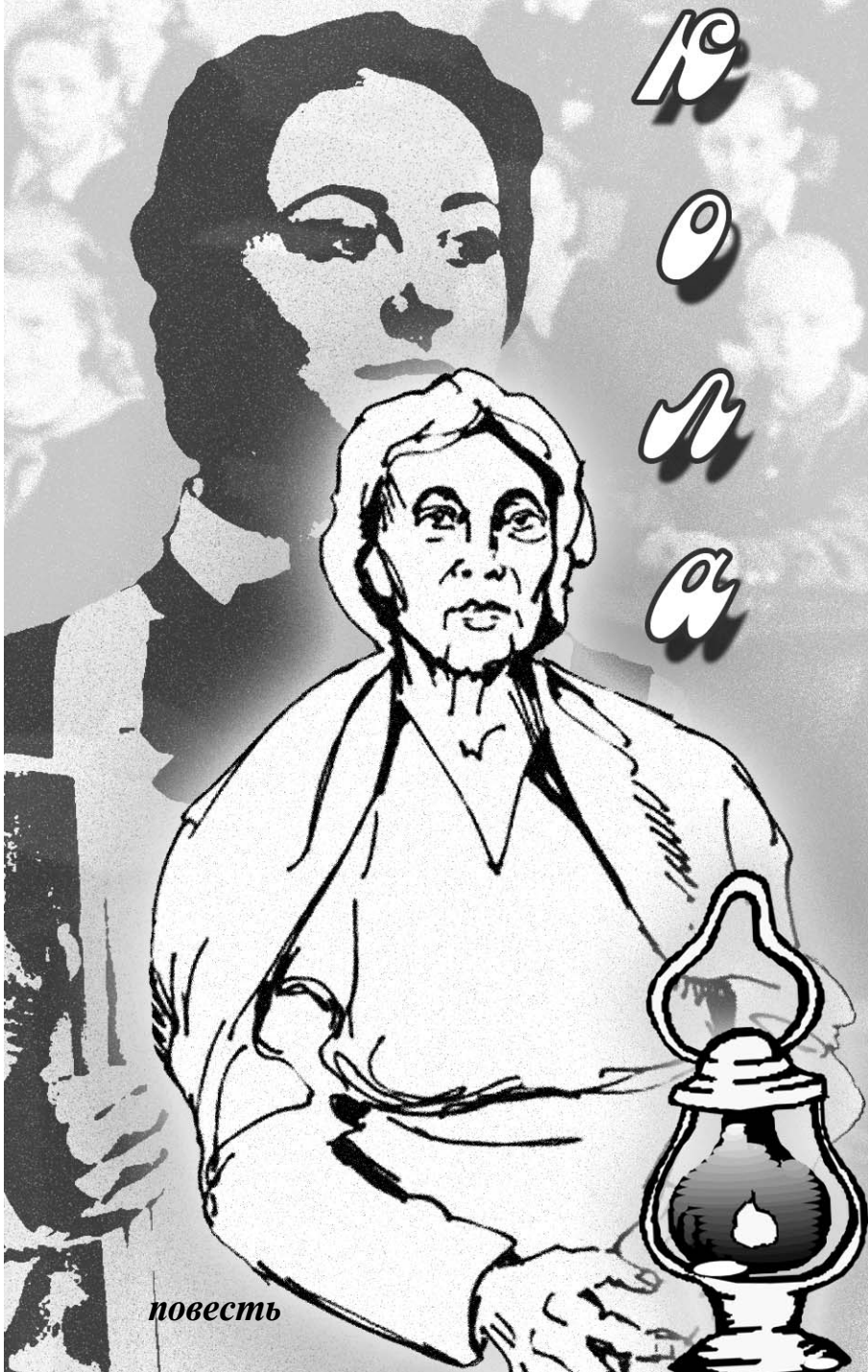
Ни на одном из прежних юбилеев я не был, казалось бы, всё и вся забыл, а тут и засвербило, и потянуло на воспоминания, просто спасу нет, тянет и тянет, да ещё с такими подробностями, подумать только, столько лет прошло, а разволновался как школьник.

Накануне пятницы объявили штормовое предупреждение, и под утро разразилась настоящая буря. За окном сверкало, гремело и лило как из ведра, шиферное железо на крыше гаража ходило ходуном, полоскало по ветру космы берёз, переломило надвое липу у соседней напротив, и она чуть было не легла на электрические провода, хотя свет и так потух.

И по мере того как за окном разыгрывалась буря, во мне самом откуда-то из самого «далёка» подымалась буря.

Я лежал без сна, с открытыми глазами, и временами даже не слышал, что творилось за окном.

Наконец не выдержал, поднялся, отыскал в книжном шкафу среди кип потрёпанных журналов старый фотоальбом и убрался на кухню. Школьных фотографий оказалось немного. Первый, второй, седьмой классы, окончание десятого, последний звонок и выпускной вечер — не густо. И почти на всех снимках — наша первая учительница Анна Ивановна. Когда задают вопрос, за что мы любим первую учительницу,



повесть

обыкновенно отвечают, за то, мол, что была она такая внимательная, такая добрая, такая отзывчивая, и всё это — то, да не то: мы любим первую учительницу за то, что она первая.

«Интересно, жива ли, и если жива, сколько ей теперь — восемьдесят два-три?»

На фотографии первого класса, сделанной на фоне школьного сада, выражения лиц у большинства хмурые («домой хочу-у», «а где мама?»), у некоторых гримасы, и только двое на шутку фотографа улыбнулись. Девочки в белых фартуках, мы в гимназической форме с белыми воротничками, без фуражек. Сосчитал — тридцать девять учеников. Вот это класс!

Из первых лет учёбы помню только отдельные эпизоды. Помню прописи в букваре — такими они казались красивыми, словно написанные каким-то волшебником! Даже у Анны Ивановны, когда писала задание в наших тетрадях, такими великолепными они никогда не получались. У нас и подавно, хотя были, наверное, и пятёрки в тетрадях самых прилежных учениц. Из мальчиков, по-моему, никто не блистал в чистописании.

Парты тогда были не прямыми и не серыми, а наклонными и чёрными, с откидывающимися низами. Прямой была только верхняя узкая доска с двумя утопленными чернильницами-проливайками, а были ещё — непроливайки, в основном домашние, и если такую чернильницу уронить, чернила не проливались. В те же, что находились на партах, дежурные перед уроками наливали из бутылок чернила. За ночь они, как правило, высыхали, и хотя были фиолетовыми, высыхая, отсвечивали болотной зеленью. Для ручек и карандашей рядом с чернильницами были выдолблены овальные углубления.

Во всех тетрадях были красные промокашки, из-за клякс быстро терявшие свою первоначальную красоту. Бумага была отвратительная, серая, шершавая, постоянно цепляющаяся за железное перо, а уж если примет кляксу, то обязательно развезёт до форменного безобразия и непременно испортит настроение. Писать такими перьями, да ещё на такой бумаге было настоящей мукой. Стоило неосторожно выйти из нажима, и перо, зацепив волокно, все старания сводило на нет. А надо было писать не абы как, а

красиво, без клякс и помарок, почему предмет и назывался чистописанием.

В старших классах писали авторучками, которые тоже надо было заправлять чернилами и почти каждый день промывать, поскольку, высыхая, чернила не хотели плавно поступать на перо и либо не писали, либо пускали кляксы.

По неискренности своей дети очень доверчивы, поэтому до пятого класса были мы как бы на одно лицо: в одинаковой форме, у мальчиков чёлочки, у девочек косички с бантиками, сначала прилежно носим октябрятские звёздочки, затем пионерские галстуки, учим одинаковые стихотворения, поём одни песни («Орлёнок, орлёнок, взмахни опереньем...»), у нас общий идол — Ленин, и, следуя его «святому» завету, мы не лазаем в общественный сад не только за вишней, но даже за китайкой, которую у нас и за яблоки-то не считали.

О космонавтике, по-моему, и говорить не стоит. Кто из нашего поколения ею не бредил, не мечтал стать космонавтом, чтобы полететь на Луну, на которой тогда побывал один только Незнайка, или к краснокожим, недоразвитым (а то бы сами давно прилетели) марсианам? И я всё, помнится, недоумевал, как они там, на Марсе, могут жить, когда всё вокруг — вода, трава, листья, цветы, овощи, фрукты — красное, и вдобавок ко всему кровавые у всех зубы и глаза? Нет, не хотел бы я жить на Марсе.

Поскольку тогда мы свято верили, что Бога выдумали питекантропы «от страха к грозе», вера в Него представлялась нелепой и смешной, а все её последователи необразованными невеждами. Попадались, правда, среди них и люди неглупые — Пушкин, Гоголь, Достоевский, Лев Толстой, например, — но и они казались немножко недотянувшими, поскольку, сами посудите, жили при свечах, ездили на лошадях, ничего не знали про синхрофазотроны...

Помню игру в молодогвардейцев. Штаб находился в бывшем курятнике нашего сарая — метров двенадцать квадратных клетушка с потолком, полом, на который девчата для уюта постелили старенький домотканый половик, а на маленькое оконце повесили занавеску. Мы с ребятами из старых досок сколотили стол, лавку, из фанерного почтового ящика и медной проволоки соорудили рацию для связи с Москвой. Уль-

яной Громовой единогласно была избрана самая боевая и разговорчивая из нас, Валя Фокеева, а по-школьному Фокеша, дочь учительницы (не нашей, а на класс или на два старше). Мне за кучерявость досталась роль Олега Кошевого. Но чего в пику фадеевскому роману мы не могли допустить, так это сбросить себя в шахты, поскольку, в отличие от молодогвардейцев, не оказалось у нас предателя (никто не захотел быть), а значит, были мы неуловимы, но ради справедливости — не неуязвимы, и всякий раз по возвращении с опасного задания девчата перевязывали нам раненые головы и поили замечательной колодезной водой (раненые же всегда просят пить: «сестра, воды») и кормили чудесным хлебом из глины. Поджигать обычно ходили соседние сараи (немецкие склады боеприпасов), зато под откос пускали настоящие поезда (в километре от штаба проходила железная дорога на Москву), так что ни один вражеский поезд к столице нашей Родины не прорвался. Другие подробности помню смутно. Зато хорошо помню, когда нас выследили, мы ушли в партизаны и в нашем ельнике, куда зимой обычно ходили кататься на лыжах, полдня копали землянку. До мозолей. Но таким это оказалось тяжким занятием, что глубже метровой, полтора на полтора, ямы одолеть нам так и не удалось. И уже ничего не оставалось, как только вернуться к мирной жизни.

В связи с этой историей припоминается инсценировка о войне. В светлом коридоре старой деревянной школы накидали на пол сена и устроили что-то вроде партизанского лагеря. Девчата в раздобытых где-то гимнастёрках и пилотках кружком сидели у декоративного костра, над которым висел котелок, и пели военные песни. Представлялась этакая романтика войны. Увы, даже в ужасах войны юность желает видеть только романтику. Нам не хотелось думать, что война — это мухи, вьющиеся над смердящими трупами, оторванные ноги и руки, море вшей, грязь, болезни, иначе — такое, что нельзя передать словами, невозможно изобразить, и даже сами фронтовики охотно бежали от пережитых ужасов в романтический вымысел киношных и детских постановочных войн. А если подумать, даже порежь палец, когда разнесёт, ведь белый свет не мил. А тут — пуля, дай бог если навылет, а то и засядет,

или осколком снаряда срежет кисть руки, разворотит живот, оторвёт ногу на mine, обожжёт до неузнаваемости лицо в горящем танке. Всё это я понял гораздо позже, когда впервые прочёл Виктора Некрасова «В окопах Сталинграда», хотя, может быть, и раньше, глядя на инвалидов Великой Отечественной, догадывался, почему не показывают в кино и не пишут на полотнах ужасы войны. Даже в военной кинохронике их чуть-чуть — как демонстрация зверств фашизма. А покажи всё как есть, ни в кинозале не высидишь, ни дома картину такую не повесишь. Это уже потом, позже появятся выставки с изображением инвалидов Великой Отечественной, сначала голливудское, а затем и наше натуралистическое кино. Моё поколение ещё застало инвалидов войны, собиравших подавание в пригородных поездах и на базарах — на каталках, на протезах, с гармониями, балалайками. Потом они куда-то исчезли. Куда именно — никто не знал и вопросом таким не задавался. Ну, исчезли и исчезли. Неумолимое время стирало из памяти ужасы недавней войны, запрещалось (или не смели?) показывать их в кино, изображать на полотнах, описывать в литературе. Короче, запрещался весь тот натурализм, который, подобно помоям, обрушится на неподготовленного зрителя и читателя в девяностые. По сравнению с другими, были мы, наверное, всё же счастливым поколением, которому достались в удел всего лишь остров Даманский («На Уссури под солнцем тает лёд. / Зима сгустила голубые краски. / Под лёд ушёл семидесятый год — тех, кто погиб на острове Даманском») да взбунтовавшаяся Чехословакия, младшим братьям страшнее — Афганистан, детям ещё более отвратительная по причине повального предательства — Чечня. Что достанется внукам — бог весть.

Ещё помню, как на одном из школьных утренников Фокеша прочла забавное стихотворение, которое, наверное, поэтому осталось в памяти.

*У меня трусы в горошек — хороши да хороши!  
Все мальчишки приставают: покажи да покажи!  
Ну, а ты, большой дурак, что не приставаешь?  
У меня трусы в горошек — разве ты не знаешь?*

Но ещё более вдохновенно, в старших классах, разумеется, читала она популярные в те

годы стихотворения слепого Асадова («Парень со спортивной фигурой. / И девчонка — робкая душа...», «Они студентами были, они друг друга любили...»). По рукам ходили затрепанные книжечки сборников его стихотворений. Тёмные очки придавали его поэзии нечто романтическое.

## 2

Вряд ли этапами нашего взросления можно считать табели успеваемости. Были тогда коричневатые складные открытки из картона, с пятью столбиками успеваемости — четыре четверти, годовой итог и в самом низу отметка по «поведению». В младших классах практически у всех — примерное. Поэтому только с пятого или даже с шестого класса, когда мы узнали, что такое второгодники, в нас стало проявляться то, что принято называть характером. Проявлялся он помимо и даже вопреки тому, что на протяжении многих лет методически сеяли в наши души. Я не о знаниях, а о так именуемом долге. Все же тогда были перед любимой Родиной и партией в неоплатном долгу. Октябрюта, пионеры, комсомольцы — все должны были быть честными, принципиальными, непримиримыми, верными, целеустремлёнными... И во всём этом торжественно клялись. В стенах школы, на уроках, пионерских собраниях, слётах, из говорильных дырок всё вроде бы правильно говорилось, и никто с этим даже и спорить не собирался, но стоило выйти за пределы школы или даже зайти в мужской туалет, не только из говорильных дырок и из носа, но даже из ушей некоторые ловкачи умудрялись табачный дым пускать. Писали или царапали на стенах и дверях неприличнейшие слова, связанные, как правило, с собственным происхождением (никаких аистов и никакой капусты!), играли в трясушку на деньги, безжалостно расстреливали невинных птичек из рогаток, зорили сорочьи гнёзда, топили в норах полевых мышей, вели перестрелку бузиной из осиновых трубочек на переменах, подкладывали друг другу кнопки на сиденья парт, кропили чернилами уши впереди сидящих одноклассников с помощью расчёски и пера и даже вместо уроков, сидя на замызганных портфелях в сов-

хозном саду, играли в свару на деньги. Всё это считалось взрослой жизнью. И тех, кто не желал в ней участвовать, презирали, дразнили маменькиными сынками и даже били. Касалось это в основном нас, мальчиков. Девочки жили своей отдельной от нас жизнью. Разумеется, со всем этим безобразием активно боролись — осуждали, порицали, ставили на вид, выводили к доске, приглашали родителей, отсылали к директору школы, стыдили, оставляли на второй год, грозили детской колонией, старались хоть чем-нибудь занять. Кому-то помогало, кому-то не очень, а кому-то на всё это было глубоко наплевать. Поэтому только после восьмого класса, когда, наконец, схлынули неучи и хулиганы, нас перестали делить на учеников из благополучных и неблагополучных семей.

В те годы мир, рисуемый школьными учебниками, средствами массовой информации, кинематографом, большинству из нас представлялся таким чистым и светлым (во всяком случае, его будущая ипостась), что хамы воспринимались как нечто пещерное, недоразвитое и отсталое. Не так уж и много их было (большинство просто подпадало под дурное влияние, и лишь единицы росли в соответствующей обстановке), но именно они, хамы, и задавали тон поведения в подростковом периоде. «Не ходи к ним, не дружи с ними», — мы слышали это от своих родителей постоянно. Родители не понимали, что не ходить и не дружить — означало ни больше ни меньше как сидеть дома и не высовывать носа на улицу, а больше и ходить было некуда. В подростковый период, казалось, вообще без общения с ними нельзя было шагу ступить. И стоило прикоснуться, не столько затягивало, сколько давало тем повод и даже право считать тебя им обязанным. От этих прав и обязанностей страдало в основном среднее школьное звено, и только в старших классах наступала относительная свобода.

Тогда было принято считать (да и теперь, пожалуй), что человек с детства призван готовить себя к какой-нибудь общественно полезной деятельности (ты кем хочешь стать? а ты кем будешь?), на самом же деле все готовится только к созданию семьи. Ни одну работу нельзя любить больше, чем женщину, а значит — семью. И с самого детства девочки готовятся к тому, как её

обустроить, мальчики — как прокормить и защитить, и в то время, когда первые нянчат и кормят кукол, вторые — воюют, летят, едут, девочки в играх больше сидят, мальчики — вечно куда-то мчатся. Совместные игры, как правило, сопровождаются любопытством к противоположному полу. Вопреки мнению взрослых, дети рано начинают понимать назначение полов (надписи в школьных туалетах тому порукой). С возрастом любопытство усиливается и, переходя в обоюдный стыд, начинает кружить голову и возбуждать вполне определённые желания.

## 3

С этой минуты, на мой взгляд, и надо бы отсчитывать время нашего взросления.

Происходило оно у всех по-разному, и моё началось в старшем отряде пионерского лагеря, куда нас с двоюродным братом Сеней, моим ровесником, отправляли несколько лет подряд под присмотр работавшей воспитателем тётки Таи, Таисии Петровны. В тот год мы окончили седьмой класс. Старший на пять лет двоюродный брат Женя, сын тётки Таи, окончил автомеханический техникум и по распределению готовился к отъезду на Сахалин. О старшем брате я упомянул не случайно. Думаю, всякому прошедшему школу дворовой жизни понятно, что такое старший брат. И хотя подзатыльники и пинки он отвешивал нам порой весьма чувствительные и учил далеко не одному добру, тем не менее был единственной опорой и защитой. Характера же был горячего, на месте сидеть не мог и даже по лесу, собирая грибы, носился как лось, не угомишься. Так что нам, малышам, не раз приходилось проходить испытание на прочность в полуторакилометровом пути до станции железной дороги, и дорогу эту я запомнил на всю жизнь. Натаскивал нас брат и в беге сначала на короткие, потом на длинные дистанции, заставлял качаться гантелями, эспандером, и если кто-нибудь начинал упрямиться, удалял от своей светлости увесистым пинком или трескучим подзатыльником, а поскольку это было равнозначно выбросу за борт корабля, приходилось смиряться. Несмотря на свою видимую расхлябанность, брат никакого отношения к уличной шпане не

имел, хотя, как безотцовщина, вполне мог бы, но держала в ежовых рукавицах тётка Тая. Помню, как после окончания восьмого класса, когда брат пришёл домой «с запахом», тетушка отвесила ему увесистую оплеуху, и, на моё удивление, брат скулил в ванной комнате, как сопливый щенок. Теперь, надеюсь, понятно, почему наши родители со спокойной душой каждое лето отправляли нас в пионерский лагерь.

Однако тётка за нами не очень следила, считая маленькими, и мы, частенько уходя за территорию лагеря, шатались по огромному сосновому лесу и наслаждались свободой — тянули кислый дым самокруток из дубовых листьев (гаванские сигары!), жгли костры, потрошили вдоль трассы телефонный кабель, выкусывая зубами разноцветные провода для радиолюбительских целей. И если по дороге в лагерь в автобусе следом за всеми нехотя пели: «Ах, картошка, обеденье, денье, денье, денье, / Пионеров идеал, ал, ал. / Тот не знает наслажденья, денья, денья, денья, / Кто картошки не едал, дал, дал», бредя по лесу, дружно выводили: «Как всегда, мы до ночи стояли с тобой. / Как всегда, было этого мало. / Как всегда, позвала тебя мама домой — / Я метнулся к вокзалу». Поскольку стоять, да ещё до ночи, нам было рановато, исполнялось всё это в виде хохмы и, чтобы скрыть друг от друга стыд вполне определённых желаний, мы, как дураки, выкрикивали на весь лес конец припева — «Эей!» — и ржали как жеребцы. Далее этого дурацкого смеха комментарии не простирались. О том, что нам нравилась наша вожатая, не произносилось вообще. Была она старше года на три, с ответной на всякую шутку улыбкой, обнажавшей крепкие зубы, задорная, общительная, способная, казалось, даже дышащего на ладан расшевелить.

Но вот однажды приехал Женя — с надменностью в глазах, ворот рубашки стоечкой, что называется, увидел — и, уж не знаю каким образом, мы очутились в лесу вчетвером. И это бы ничего, и более многочисленные толпы по лесу бродят, да посмел, видите ли, при людях, то есть при нас, пусть хоть и брательник, положить нашему идолу левую руку на плечи, правая при этом незаметно махала в районе таза кому-то ладошкой — сваливайте, мол. Мы непонимающе оглядывались — кому это он знаки подаёт, вроде никого тут из посторонних нет, только свои. И, с недоу-

мением пожимая плечами, естественно, никуда сваливать не собирались, даже после того, как длань превратилась в кулак. И долго немолчный стрёкот кузнечиков и завораживающее пение птиц сопровождало наше торжественное шествие, пока, наконец, не пришли в лагерь, после чего обнаружить нас брату не удалось. Но и совершить плохой поступок не удалось тоже.

Тётушка, сама того не подозревая, подогрела наше воображение, довольно живописно пересказывая содержание романа «В щупальцах спрута» — о женщине, которая влюбилась в американского шпиона. Почему? Да потому, что, в отличие от «наших деревенщин», был он «таким галантным кавалером, с хорошими манерами», водил «бедную женщину» в ресторан, дарил цветы — это шпион-то, враг заклятый! — а тётушкин взгляд заволакивался мечтательной грустью. Мы нетерпеливо торопили: «А дальше, дальше?» И хотя происходило это практически каждый вечер и все перипетии сюжета мы знали наизусть, всё равно просили: «Таисия Петровна, а расскажите, пожалуйста...» И тогда начиналось. Приходили девчата из-за перегородки, усаживались на наши кровати, и все затаив дыхание слушали.

Для старших отрядов по воскресным вечерам устраивали танцы на низкой деревянной, ничем не огороженной площадке под аккордеон. Сеня хотя и был, по сравнению со мной, городским, но с девчатами необыкновенно застенчив. Немногим отличался от него и я и, тем не менее, отважился однажды пригласить девочку в светленьком коротеньком платьице на «медленный танец». Была она одного со мною роста или чуть повыше, тогда как большинство девочек были выше меня, тогда коротышки, чуть не на полголовы. Долго, помнится, не мог решиться, а потом всё-таки как во сне подошёл и пригласил. Девочка была не из нашего отряда, светловолосая, голубоглазая, с таким же, как у меня, выражением изо всех сил скрываемого чувства гордости и стыда на окаменелом лице. Я едва держал её за талию, она насквозь прожигала ледяными пальцами через рубашку мою хилую грудь. Мы неумело покачивались из стороны в сторону в такт музыки, больше всего на свете боясь глянуть друг другу в глаза. Только после того как окончился танец, я подумал, что надо же бы-

ло спросить, как её зовут. Пригласить же на второй танец или подойти познакомиться я не отважился бы ни за что на свете. И долго потом мечтал о том, что, когда вырасту, обязательно разыщу её и на ней женюсь.

## 4

Следующим этапом взросления был выпускной вечер у брата Сени и мой первый поход на Нижегородский откос с его восьмым «бэ» классом. Тогда была в моде только что исполненная Татьяной Дорониной песня «Я мечтала о морях и кораллах...», и её не переставая пели под гитару по дороге туда и обратно. Пели и «ес ту дэй», и переведённую на русский «гёл» — «помню, как-то шёл я ночью по аллеям парка, / чтоб взглянуть в открытое окно», — с оригинальным почему-то припевом — «о-о, о-о, гё-о, о-ол», — и много чего ещё. Большую часть пути вместе с нарядными толпами шли пешком. Перед этим тайком от родителей выпили сначала с «мужиками» в сарае по «пять капель» водки, затем под присмотром родителей у кого-то на квартире с «бабами» по «три глотка» шампанского, и весь путь до откоса ни одна из девчат не хотела верить, что, оказывается, и я тоже восьмой класс окончил. Все как одна, оглядывая мою низкорослую щуплую фигуру и моложавую, без единого прыщика, физиономию с кнопочкой-носом и невинным взглядом младенца, в один голос уверяли: «А на вид — так класс пятый, ну шестой от силы, не больше, правда, девочки?» И тогда я настырно требовал задать мне какую-нибудь задачку по алгебре или теореме по геометрии — «Пифагоровы штаны на все стороны равны», — чтобы доказать им, что и я такой же «большой». Но о каких задачках может идти речь в столь знаменательный день? И потому только, что от «пяти капель» водки и «трёх глотков» шампанского был я вдребедушку пьян, а стало быть, безумно храбр, со всеми девчатами сразу же перезнакомился, а у одной даже выпросил адрес и всё шептал ей, державшей меня с левой стороны под руку: «Я тебе обязательно напишу, вот увидишь!» Была она, как и прежняя, «лагерная», голубоглазой и светловолосой. Может быть, потому что сам я был кудрявый и чернявый, как цыганёнок. С другой

стороны меня тоже держала под руку девочка, и как-то её тоже звали, и на кого-то из артисток она «как две капли воды» была похожа, но на кого именно и как зовут, убей, не помню. По правде сказать, и эту заспал бы, кабы не обнаруженный поутру в грудном кармане испачканного каким-то извергом пиджака адрес. Дома меня тоже не узнали. А кто ещё-то не узнал? Одноклассницы брата. Собственно, из-за кровавой обиды я и уехал. А то, видите ли, вчера в темноте я им намного старше показался! Надо ли добавлять, что именно поэтому никакого письма я так и не написал. И не просто изорвал в мелкие клочки и с яростью кинул на землю, но и затоптал в грязь с таким трудом выпрошенный вчера адрес. «Вы ещё пожалеете!» — едва сдерживая подступающие слёзы обиды, пригрозил я им всем в уме, но, увы, практически до следующих каникул оставался таким же хлюпиком. Это уже потом, по окончании девятого, я добровольно, а не из-под палки, займусь бегом, не считая простой гимнастики и полётов во сне, и первого сентября с удивлением обнаружу, что стану почти одинакового роста с самыми рослыми девочками из нашего класса. Тогда же, после восьмого, я ещё тянул лямку пай-мальчика, хотя именно в ту осень был посвящён в душещипательную историю, которая якобы произошла с Володей на картошке, куда тот ездил от своего ПТУ. Суть излагалась в стихотворении:

*Не могу рассказать, что там было в кустах:  
Муки, радости, буйное пламя.  
Лишь в послушных твоих, чуть дрожащих губах  
Больше не было слышно «не надо».*

Был шедевр гораздо длиннее, но, думаю, и этого четверостишья достаточно, чтобы войти в курс дела. На мои наводящие вопросы Володя многозначительно ухмылялся, и когда я категорично заявил: «Врёшь!», потащил меня в город, на Ворошиловский посёлок, где в одном из слабоосвещённых барачков жила эта его на всё согласная «азноба». Но мы её так и не дождались, к кому-то она ушла на день рождения. Второй раз ехать в эти трущобы я не решился, а потом Володя сообщил, что она ему изменила, долго переживал, топиться, слава богу, не стал и вскоре вместе со мной занялся спортом. До сих пор

существуют фотографии, на которых мы в тайне от всех кидаем друг друга на песках. Почему не в спортзале? Потому что как такового спортзала в нашем посёлке, считавшемся окраиной города и даже деревней, не было. Какое-то время организовали его в старом деревянном клубе, в котором до строительства нового, каменного, мы, ребяташки, смотрели фильмы, сидя или лёжа на полу. И если в старом клубе детские билеты стоили пятак, а взрослые гривенник, в новом — соответственно, десять и двадцать копеек, и сидеть на полу было неудобно из-за высоты сцены. Да и мест хватало, к тому же особо популярные ленты крутили по несколько дней подряд в два сеанса. И всё-таки старый клуб мы любили больше. А как удобно было сидеть или лежать, опираясь на локоть, на полу перед низенькой сценой! Особой популярностью пользовались, само собой, «Чапаев», породивший массу анекдотов (Василий Иванович, глядя вслед удаляющейся белой разведке: «Ух, пронесло!») Петька: «И меня — тоже»), «Александр Невский» («Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет»), «Истребители» («Мы парни brave, brave, brave, и чтоб не сглазили подруги нас кудрявые...»), «Небесный тихоход», кинокомедии «Волга-Волга» («Ты кричи теперь» не кричи теперь, а кричи «совершенно секретно»), «Свинарка и пастух», и завершался репертуар индийскими фильмами, с нудными песнями и девушками с кнопочками во лбу, которых никому так ни разу и не удалось поцеловать. Так после открытия нового клуба, в старом, пока не снесли, и устроили спортзал. Как таковой секции бокса не было, зато шлемы и перчатки имелись, и нас, малышей, для потехи, как петухов, старшие ребята частенько заставляли биться на сцене до кровавых соплей, тогда как между собой почему-то никогда не дрались, хотя все как один тягали штангу и лупили грушу. Затем спортзал перекочевал в старый магазин, стоявший на стыке главной улицы с тротуаром, ведущим к новому клубу, — убогая одноэтажная засыпушка, куда собирались, к сожалению, не только из спортивных интересов, но чтобы раздавить пару пузырей, перекинуться в картишки, забить козла, пока притон, наконец, не прикрыли и здание не снесли. А вот в школьный спортзал, несмотря на низкие потолки, собирались уже исключительно из спортив-

ных интересов. В нём же для нас, школьников, устраивали осенние, весенние, новогодние и выпускные вечера в сопровождении настоящего вокально-инструментального ансамбля.

## 5

Нашим первым классным руководителем была старшая пионервожатая Рената Иванова, с которой мы сдружились, наверное, ещё и потому, что она нам ничего не преподавала, находясь на штатной должности «двигателя революции». Без заметных сучков и задоринок она довела нас до восьмого класса, после чего началась чехарда смены классных руководителей, приведшая в итоге к расхлябанности дисциплины. Сидели уже кто с кем и где хотел, а мы с Грачёвым, соседом по парте, вопреки господствующему коллективизму, даже додумались до открытой пропаганды обособленности общественных отношений, в пикку всему «человечеству» считая себя «индивидуумами», игнорирующими общественные нагрузки — собрания, самостоятельность, сбор металлолома, макулатуры... И доигнорировались. Нас не приняли вместе с классом в комсомол, что означало ни больше ни меньше как закрыть дорогу в высшее учебное заведение. А ещё потому не приняли, что на вопрос, для чего хотим вступить в комсомол, мы с юношеским максимализмом заявили, что не только в комсомол, но и в партию намерены проникнуть для достижения исключительно меркантильных целей. («Все, мол, только ради этого и живут и только прикидываются идейными»). Такого рода издевательство даже самый рядовой комсомолец не смог бы перенести, так что проникнуть в данную организацию нам удалось только через год, когда мы для видимости исправились, ввиду стопроцентного плана, конечно. И получив необходимые для карьерного роста документы, занялись прежней «подрывной деятельностью», походившей больше на забаву, чем на действия по убеждению. Тогда никто и предположить не мог, во что подобного рода забавы впоследствии выльются. Государственный корабль на всех парусах уверенно шёл в исключительно правильном направлении, никому даже и в голову не приходило, что, оказывается, мы не

мчимся, а стоим. По правде сказать, никакого стояния мы не наблюдали. Жажда новизны, как и во все времена юности, конечно, была, но это ничуть не умаляло радости переживания текущего момента — очередной влюблённости, например, способной, казалось, развеять любой мрак. Да и мрака, собственно, никакого не было. Таковыми же упоительными были летние, осенние и весенние вечера, так же ослепительно цвели по весне сады, с шумом и гамом гнездились на вершинах тополей вороны и галки, жизнь ни на минуту не прекращала своего головокружительного течения, в которой мы чувствовали себя счастливыми участниками торжества.

## 6

Следующий этап взросления относится к тому времени, когда в наши ряды влилось пополнение из расформированного 9 «в» класса.

Тот год был особенно драматичным в моей жизни, поскольку благодаря одноклассникам брата и пэтэушной истории друга детства я, наконец, понял, что катастрофически отстаю в безнравственном и физическом развитии от уходящих в мир взрослых ровесников.

И это при том, что ни одна из стрел беспортошного (не я их такими придумал изображать) Амура не пролетала мимо моего сердца. Прежние были ничто по сравнению с теми, что полетели в меня с первого сентября. Очевидно, до этого античный персонаж пристреливался, теперь же разил наверняка.

Начиналось, как правило, с переглядывания. Как бы случайного. Раз глянешь, два глянешь, три глянешь... И вот тебе уже отвечают. Чем чаще, тем чувствительнее. Наконец, доходит до того, что ты боишься лишней раз повернуть голову, потому как стоит повернуть — и Амурашвили (по-грузински — сын Амура) простреливает тебя насквозь.

И всё же считаю, никакой такой первой любви нет, а есть только опыты, предваряющие создание семьи. Наверное, поэтому в каждой новой возлюбленной в первую очередь предполагается единственная. То же самое у девушек. Во всяком случае, наше поколение в большинстве своём было таким. И я прекрасно помню, как на уро-



ках (пока не сделают замечание), по дороге из школы, в школу, дома о том только и мечтаешь, что вот, наконец, придёт время и вы поженились. Разумеется, это были самые сокровенные, никому и никогда не открываемые мечты. А какую на первых порах они доставляли радость! Такое впечатление, что ты обрёл сокровище! Ни о ком и ни о чём другом ты думать не хочешь и не можешь! Время сладостное, но мучительное.

Я лично начал мучиться ещё до написания записки с просьбой проводить после уроков — предложение вечной дружбы (а в юности всё представляется вечным) должно было быть высказано тет-а-тет и, разумеется, не в первый вечер. Если бы мы учились в первую смену, вряд ли бы я отважился и на записку, и на провожание, ибо идти один на один рядом с девушкой посреди бела дня, да ещё неся в руках два портфеля, да ещё когда ты ниже её на целых три сантиметра, было тогда сильнее самой сильной любви. А вот тёмным осенним вечером, когда никто не видит...

Ещё до написания записки я знал, что моя избранница живёт за речкой, на улице Весенней, и само название улицы придавало её образу какое-то особенное очарование. И это потому, видимо, что, в отличие от Пушкина, весну я любил больше, чем осень. Как раз из-за того, из-за чего не любил её Пушкин: из-за «томления крови».

Глядя на фотографии того времени, не могу понять, что привлекло меня к ней. Напряжённо погружаясь во многом уже тёмное пространство памяти, улавливаю озарённый заходящим солнцем овал лица, тревожный взгляд и то душевное волнение, под воздействием которого даже самое заурядное лицо становится привлекательным. Думаю, гораздо больше в моей влюблённости было фантазии, того, что правильной было бы определить словом «дорисовать». И я, помнится, всё дорисовывал и дорисовывал, придавая всё больше и больше очарования оригиналу. Дошло до того, что однажды, будучи больным, с температурой, не выдержав пытки, притащился на уроки.

Не помню, почему у нас не срослось. Помню, что постепенно чувства мои сами собою сошли на нет.

В романах часто описывают пространственные разговоры влюблённых. На мой взгляд, когда

любят, любые разговоры всегда не о том, и либо уводят от чувства, либо тщательно скрывают главную его суть — обоюдное желание. Век нынешней раскрепощённости во многих современных фильмах, отбросив слова, герои сразу приступают к делу — и всё это подробно показывают для назидания непосвящённых. Нашему поколению подобного рода дела представлялись катастрофой. Да что дела, даже первые поцелуи. Если и доходило до поцелуев, то сорванных непременно нагло, силой, что нередко завершалось пощёчиной, оставившей после себя чувство оскорблённого достоинства, с одной стороны, и чувство шпанливой гордости или неискупимой вины, с другой.

Тогда было принято считать, что любовь должна быть единственной на всю жизнь. И если у тебя с одной, с другой, с третьей не склеилось, тебя негласно записывали в позорный список коварных изменщиков. Девушки в это число не попадали по причине страдательного положения, поскольку по большей части не они, а их оставляли (разлюбливали или разлюбивали?), и опять же выбирали не они, а их, хотя и попадались среди них «Татьяны Ларины», а попросту «липучки», с которыми, подобно Евгению Онегину, никто никаких дел иметь не хотел, во всяком случае в одном классе, в одной школе, в одном дворе, в одном посёлке, где практически все друг друга знали, друг к дружке присмотрелись, друг другу порядком успели надоесть, но стоило появиться приезжим, вся округа тотчас подымалась на дыбы.

Вспоминаю сестёр-близняшек, молдаванок, поселившихся недалеко от школы. То, что с их появлением началось, нельзя назвать любовью, а какой-то повальной эпидемией. И я под окнами их дома да у крыльца, на котором по вечерам появлялись экзотические сестрицы, вместе с заражёнными толпами потолкался. Необычная масть близняшек многих тогда свела с ума. Меня, разумеется, тоже. И отступился потому лишь, что со старшими по возрасту претендентами на этакую невидаль просто не котировался. Кстати, когда пришло время, обе вышли замуж, и не абы за кого, а за самых-самых.

Хорошо помню тот день, когда Саня Аникин, стоя в проёме настёжь открытого окна и потряхивая в руке подкинутым нашему новому, четвёртому по счёту, классному руководителю сорвавшим урок анонимным письмом, кричал:

— Последний раз спрашиваю — кто написал?

Его тёмные кудри трепал лёгкий сентябрьский ветерок, голову нимбообразно обрамляло зависшее над крышами одноэтажных домов посёлка вечернее солнце. Урок был сорван в самом начале, когда Янина Александровна, вчерашняя студентка исторического факультета, стройная, подтянутая, быстрой походкой войдя в класс, обратила внимание на свёрнутый вдвое тетрадный лист, на котором крупными печатными буквами было выведено её имя и отчество. «Мне?» Она окинула удивлённым взглядом притихший класс — и класс ответил ей тем же. И тогда, развернув листок, она стала читать. И по мере того как читала, лицо её каменело.

— Нет, я, конечно, за откровенность, — совершенно неузнаваемым голосом наконец выдавила она, — но чтобы так...

И, положив анонимку на стол, демонстративно вышла из класса. Выбежавшая следом Фокеша вернулась с известием, что «Янина плачет». Класс загудел. Со всех сторон полетели упреки и угрозы автору анонимки.

— Уважаемая! — возвысил голос Грачёв, и его усыпанное веснушками щекастое лицо, как и подобает «индивидууму», приняло надменное выражение (моё за компанию — тоже). — Человечество желает ознакомиться с содержанием возмущившего их обывательский покой послания.

«Человечество» хотя и выразило незамедлительное согласие, однако же кое-кто и огрызнулся: «Единоличники! Ставят из себя! Идиотизм какой-то!» Простому смертному это могло бы показаться оскорбительным, индивидууму же — никогда, а потому, даже не поведя бровью, вальяжно отвалившись назад и выставив из-под парты ботинки с отбитыми носами, Грачёв заявил:

— Уважаемая, человечество уполномочивает вашу светлость огласить содержание.

— Я?

— Увы, уважаемая, но человечество вам доверяет.

По приглашении анонимки возмущение достигло апогея. Все требовали сочинителя, «если только он не трус», сейчас же выйти к позорному столбу, то есть доске, а поскольку никто не выходил, Саня, как самоназначенный председатель следственной комиссии, состоявшей из него одного, вынужден был пойти на крайние меры.

— Ну? — с вызовом повторил он и высунулся в окно.

Класс замер.

Но никто так и не сознался.

И в доказательство того, что не шутит, Саня прыгнул со второго этажа. Мы сразу облепили окно: Саня лежал на боку, обняв руками поджатые под себя ноги, и, задрав вверх голову, стонал от боли. Трое ребят сыпанули на улицу, кто-то из девчат хотел бежать в медпункт, но их вовремя остановили — не хватало нам ещё этого скандала, и так мы считались трудным классом.

Содержание написанного печатными буквами письма было следующим: «Уважаемая Янина Александровна. Ваши жалкие попытки втиснуться в наши души ничего, кроме жалости и снисхождения к вашей ординарной личности, у подавляющего большинства не вызывают, зря стараетесь».

Кто до этого додумался, так и осталось тайной, хотя многие подозревали нас, индивидуумов. И это понятно. Наше ироничное отношение ко всему «святому», да ещё так откровенно выпячиваемое наружу, не только удивляло, но и бесило.

И все-таки до анонимки додумались не мы, во всяком случае не я. И вместе со всеми ходил к Янине на покаяние.

«Яни-ина Александровна, прости-ите нас, пожалуйста. Ну, пожа-алуйста...»

Уж эти юные сердца! Всего-то и стоило Янине разок всплакнуть, чтобы покорить нас навеки. И когда выяснилось, что «классная» беременна и скоро уйдёт в декретный отпуск, нашему горю, казалось, не было предела. Пару раз мы даже навевали её в городской квартире. Первый раз она всего лишь вышла к нам на лестничную площадку, поддерживая руками уродливо, по-муравьиному торчавший на её худенькой фигуре живот. Девчата шептались по этому поводу, что «у Янины муж — у-у-у...»

Второй раз я не поехал, а те, что ездили, представили фотографию, на которой с ребёнком на руках, в окружении десяти преданных учеников, растрёпанная, совершенно не похожая на прежнюю стройную классную даму сидела наша Янина.

## 8

И всё же самые волнующие события происходили на школьных вечерах. Их почти-точно называли балами, и, кроме танцев под первый вокально-инструментальный ансамбль, на них ставили сценки, читали душещипательные стихи (в основном Асадова и Есенина), играли в «ручёк», разыгрывали интеллектуальную лотерею, носили почту — любовные анонимки или подковырки.

Поскольку на взрослые танцы, которые зимой устраивали в местном клубе, а летом на танцплощадке в парке, нас ещё не пускали, первые шаги на танцевальном поприще мы делали на школьных балах.

Девушки обычно располагались по правой стене спортзала, мальчики — по левой. Напротив входа, между дверями в раздевалки — ансамбль: две гитары (ритм, бас), труба и ударник без большого барабана. Двое из музыкантов наши одноклассники-второгодники. Все девушки в них безнадежно влюблены.

Слышу счёт палочек. Созерцаю притихший зал. Исполняют (без пения) «ес ту дэй». Петь по-английски в нашей французской школе ещё стеснялись, да и не умели, и вообще, более или менее сносно не скоро научатся петь. Но мы и такой, пусть хоть и примитивной, но всё же самой современной в сравнении с баяном или аккордеоном музыке несказанно рады. А как она волнует нас!

Из наших песен поют:

*Перчатки снимешь прямо у дверей,  
Небрежно бросишь их на подоконник.  
«Я так озябла! — скажешь. — Обогрей!»  
Ко мне протянешь зябкие ладони.*

Или:

*У твоего подъезда снегопад,  
Ты вся в снегу, боишься простудиться,  
А я боюсь случайно ошибиться,  
Мне хорошо четвёртый день подряд.*

Вот именно — ошибиться. А ну как пригласишь не ту, и вся жизнь — насмарку. Ведь уже до этих балов я был бесповоротно влюблён в девочку в пионерском лагере, потом в одноклассницу брата, у которой с таким трудом и клятвами выпросил адрес, но так и не написал, в одноклассницу с улицы Весенней, в молдаванок, а тут перед глазами две шеренги девчат из двух десятых, своего девятого и параллельного «бэ» класса. Положим, десятиклассницы все как одна тогда казались безнадежными старухами, но девчата из параллельного класса... О-о!.. А в десятом! Какое удовольствие доставляло смущать одну только развязной походкой таких ещё робких, таких ещё пугливых девятиклассниц! Но это, опять же, в десятом, после усиленных спортивных занятий и полётов во сне, а тогда со мной, коротышкой, никто даже и танцевать не хотел. Нет, положим, какая-нибудь самая несимпатичная и пошла бы, да разве можно, пригласив такую, ошибиться навек? А потому танцевали в основном девушки с девушками, а мы делали вид, что на них внимания не обращаем, по всякому поводу и без повода хватаясь за животы — «ну, умора». Ну, а девушки... А девушки делали вид, что им очень нравится танцевать друг с дружкой, порою даже не позволяя себя разбивать. Мы, помнится, так и говорили: «Пойдём разобьём вон тех», заранее определяясь, кто с кем танцевать будет. Всё же не так стыдно, когда в одиночку подходишь, а тебе отказывают. А бывало, пригласишь, тебе откажут, и ты, не разбирая, идёшь вдоль шеренги, приглашая всех подряд, а тебе, как назло, все до одной отказывают. Уж это ущемлённое самолюбие! Переступить через него (на виду у всех получить серию отказов) не каждому было по зубам. Поэтому чаще не танцевали.

Нет, конечно, были и такие из парней, которые совершенно спокойно подходили и приглашали, но не больше чем на один танец — чтобы избежать подозрений и... случайно не ошибиться. Если же танцевали всё время с одной — это уже была ничего, кроме зависти, не вызываю-

шая, самая настоящая любовь. Танцевать с одной и той же означало ни больше ни меньше как потом на ней жениться. Для иных целей у нас тогда с одной и той же не танцевали. Танцуешь, значит, женись. Ещё и поэтому, наверное, я всё не мог себе выбрать пару. И так до окончания девятого класса.

Начало последних каникул я провёл в трудовом лагере. Нас расселили по каютам второго этажа старой брандвахты. По вечерам мы собирались на верхней крытой палубе. Сидели на лавках и перилах и разговаривали о пустяках. Но после отбоя группами по двое, по трое прокрадывались в каюту девчат и до часу, а то и до двух ночи просиживали на кроватях своих избранниц. Если существуют мысленные поцелуи, таковые, конечно, были. Переступить же через эту мысленную черту у меня, во всяком случае, не хватало смелости. В воображении, правда, давно уже доходило и до поцелуев, а стало быть, и до официальных женитьб. Уж эти томительные минуты! На соседних кроватях обойдённые вниманием девчата делают вид, что спят, а на необойдённых мы никак не можем наглядеться, а они — на нас. Моя, как и все остальные, под одеялом, закрывшись до подбородка, жутким, как омут, взглядом влечёт меня к себе. Казалось бы, только наклониться и поцеловать, а стыдливость не допускает. И всякий раз, возвращаясь в каюту, я казнию себя за эту нерешительность. Уверяю и даже даю себе слово, что в следующую же ночь обязательно «сотворю беззаконие», но, увы, всё до мельчайших подробностей повторяется опять. И так до конца смены. Но и дома я не перестаю казнить себя за эту малодушную нерешительность. Преуспевшие в подобных делах ребята уверяют, что девчата не любят нерешительных и что наглость — второе счастье, может быть — и счастье, может быть, только, видно, не для меня.

## 9

**А**в начале августа появилась она. Сашенька. Из Астрахани. Астраханочка, как сразу стали её называть. Да ещё двоюродная сестра моей одноклассницы.

И вот мы впятером (три девушки и два парня) гуляем по нашей единственной асфальтированной дороге, ведущей через дамбу к кладбищу, — парами ещё стесняемся ходить.

Но гораздо чаще собираемся на брёвнах у сараев. Говорим о фильмах, звёздах, поэтах, справедливости, трусости, предательстве, героизме и ни слова — о любви. Вернее, больше всех говорит Сашенька. Она горой стоит за справедливость, честность, порядочность. Её невозможно переспорить или переубедить. Если она что-то решит, то это уже окончательно и бесповоротно. Она не терпит глупых шуток, пошлых анекдотов, двусмысленности в разговорах: либо — либо, и никак иначе. Её начитанность вызывает у всех уважение, которое она принимает как должное. Во всём и всегда — она зачинщик и командир. И даже я, не только заядлый спорщик, но и несознательный комсомолец, ей во многом подчиняюсь. Во многом, но не в главном. И с жаром говорю, что не понимаю, почему именно «должен» быть честным, принципиальным, непримиримым, верным, целеустремлённым и тому подобное, когда давным-давно никто ни во что уже не верит.

— А ты?

— Только — в себя!

И сразу начинается. И единоличник-то я, и ставлю из себя неизвестно что, и не хочу быть как все, и что не живётся мне спокойно, и даже «помяни моё слово, когда-нибудь тебя посадят».

Но я упрямо стою на своём. Сашенька во время спора молчит, хотя к ней постоянно обращаются за поддержкой, но — не безразлична, а словно что-то пытается и никак не может для себя уяснить.

И когда все расходятся, мы на малое время остаёмся вдвоём. Просто сидим и молчим. И молчание это не кажется томительным или неловким. В деревянном коттедже на четырёх хозяев, где живёт Сашенькина бабушка, давно потушен свет, но бабушка не спит и ровно в одиннадцать, выйдя на крыльцо, кликнет внучку домой. В сказочном очаровании тихой августовской ночи дремлют за штакетником обременённые плодами яблони.

Мы сидим на брёвнах и наблюдаем звездопад. Загадываем желания.

— Успел? — всякий раз спрашивает она.

— Да, — отвечаю я. Поскольку желание у меня одно, не успеть невозможно, о нём нетрудно догадаться, но я никогда и никому о нём не скажу.

Сашенька в светленьком платице, натянутом на поднятые к подбородку колени, в накинутах на плечи моём куцем пиджачке. Я в коротеньких брючках, новые купят только к школе, а пока каждый вечер, прежде чем отправиться на свидание, с помощью марли и стирального порошка я придаю им божеский вид. И, надо сказать, у меня это неплохо получается, но, вот досада, такими они за лето сделались короткими, что даже приспущенные на бёдра чуть ли не до самого верха обнажают носки. Положим, сидеть на брёвнах — ещё куда ни шло, но подойти к честной компании даже при тусклом свете уличного фонаря было равносильно пытке. Скрашивала обстоятельство синяя нейлоновая рубашка. Во всей округе ни у кого такой не было, её не надо было гладить, она не линяла при стирке, а значит, никогда не теряла праздничный вид. Немного, правда, холодила по вечерам, но это же такая мелочь для влюблённого человека.

Ни о каких чувствах меж нами не произносится ни слова, даже случайного, и между тем мы оба прекрасно понимаем, что между нами что-то «есть». И это нечто, никогда не называемое, понятно не только нам, но и тем, кто каждый вечер позволяет нам побыть наедине. А если бы не было, разве стали мы, подобно двум истуканам, сидеть на брёвнах, на которых до нас никто и никогда не сидел? Что время — эфемерная величина, я знал и до этого. Знал, например, что оно может тянуться томительно и долго или лететь быстро и незаметно, но ещё неведома была для меня тоска разлуки, помноженная на не преодолимое обстоятельствами расстояние. Если даже теперь я не знаю, как убить время до вечера, в какую муку превратится оно, будучи помноженным на триста тридцать четыре световых дня. Ночи я всё-таки предполагал спать, чтобы сохранить здоровье для будущего потомства. А будет у нас три мальчика и одна девочка. Три мальчика потому, что один сын — не сын, два сына — полсына, и только три сына — сын. Ну, а про девочек ничего такого не сказано. И потом, их и так по статистике десять на девять ребят.

— Ты действительно считаешь, что теперь никто ни во что не верит?

— Да.

— Для чего тогда жить?

— Да просто.

— Просто... Человек — не животное, он не может жить просто. Человек может жить только ради чего-то.

С этим нельзя не согласиться, но я всё равно не согласен. Говорю, что никакое «чего-то» не может быть дороже моей личной жизни уже потому, что она одна и больше никогда не повторится. Вот если я сам захочу её отдать — другое дело, но почему именно — «должен»?

— Тебе просто не хватает сознательности... Смотри, ещё одна упала!

— Не поэтому. Просто я никому ничего не должен... А вон — ещё!

Напряжённое молчание нарушает знакомый до последней нотки голос:

— Са-аша-а!

Мы слезаем со штабеля. Сашенька говорит:

— До завтра?.. И всё равно ты неправ.

— Может быть... На том же месте?

— Да... Я в этом почти уверена.

— И я... Спокойной ночи.

— Темно как!

## 10

**И** в один из таких тёмных вечеров мы совершили подвиг.

Как-то дойдя до окончания дамбы, мы по обыкновению хотели повернуть назад, как вдруг услышали крик о помощи. И, подойдя ближе, увидели две машины такси, в которых шла борьба с одной стороны за обладание, а с другой за нежелание сделаться предметом этого несанкционированного обладания. Иными словами, два таксиста пытались всего лишь на один вечер жениться на тех, на которых даже под угрозой расстрела ни за что бы не согласились жениться. А это было неправильно. И мы решительно потребовали это вопиющее безобразие немедленно прекратить.

— А то вызовем милицию!

Не скрою, нам, мальчикам, было страшно. А ну как вылезут большие дяди, сдёрнут шта-

нишки и нашлёпают по голой попе? Но при девочках мы изо всех сил стараемся казаться Александром Матросовым.

Но, к нашему удивлению, с нами даже и спорить не стали — не выскочили, например, с монтажкой, не схватили за грудки, даже на три нехорошие буквы не послали, — а тотчас открыли двери и выпустили «кавказских пленниц» наружу. «Кавказских» — потому, что после одноимённого фильма только «кавказские» не хотели замуж без любви.

Когда же вывалились из салонов такси полупьяные, покрашенные до совершенной потери личности, с распущенными волосами этикие бабищи на каблуках, я подумал: «Ничего себе!»

Такси тотчас развернулись и укатили, а мы целый километр сопровождали несчастных жертв до автобусной остановки. И всю дорогу несчастные жертвы строили из себя оскорблённых невинностей, а мы кристально чистых советских граждан. Ведь форменное же безобразие, ну! Наши девушки были особенно возмущены, а мой напарник, как и я, делающий на ухаживательном поприще первые шаги, шёл, ехидненько улыбаясь в сторону, и этой ехидненькой улыбочкой как нельзя лучше было сказано всё — те, с которыми мы гуляли, и те, которых якобы спасли, были для нас далеко не одно и то же.

## 11

Расставание наше было скорбным. И скорбью, казалось, было пронизано всё вокруг. Подобно заплаканным материнским глазам, каждое утро смотрело сверху безликое холодное небо, а цеплявшаяся за кусты и мотавшаяся по ветру паутина почему-то напоминала оборванные телефонные провода. Дома не сиделось, оттого что бездушная кукушка каждые полчаса, с шестерёночным жужжанием распахивая дверцу резного скворечника, методично отсчитывала приближающееся время неумолимой разлуки. Казалась она такой горестной, такой неизбывной, что я даже потихоньку плакал в подушку.

Незаметно до Сашенькиного отъезда мы обменялись адресами. Но до самого последнего дня нашего скорбного прощания я даже и мысли не допускал, что отважусь хотя бы напоследок её

поцеловать. Забыл сказать, что, несмотря на мои интенсивные полёты во сне, была Сашенька не только выше меня, но и казалась взрослее (старшая сестра с младшим братом), и я, прекрасно понимая это, старался не встречаться с ней среди бела дня. И весь световой день, пользуясь льготой последних каникул, отсутствием домашних обязанностей, после утренней зарядки слонялся по нашему лесу. Горестные мои думы были об одном: ну вот что она во мне нашла? И я то сомневался в искренности её чувств, то боготворил за несоответствующий её величия выбор. Действительно, было вокруг немало парней и повыше, и постарше, и решительнее, и уж, конечно, симпатичнее меня. Её двоюродная сестра, моя одноклассница, например, во время наших совместных прогулок совершенно открыто сходила с ума по Алену Делону (фильмы с его участием тогда были в ходу). Оказывается, был знаменитый француз не то метр восемьдесят шесть, не то метр девяносто ростом. Иными словами, куда мне до него, а поди ж ты, рискнула Сашенька так опрометчиво ошибиться. Значит, было же во мне что-то такое, чего не видел больше никто. Судя по фотографии — абсолютно ничегошеньки. Но воистину неисследимы глубины сердец девичьих!

Сказать, что это был самый печальный вечер, значит, ничего не сказать. Сначала мы сидели на брёвках. И, пожалуй, это был единственный вечер, когда мы совершенно не обращали внимания на звездопад. Подперев коленями подбородок, Сашенька задумчиво смотрела перед собой, а я, искоса поглядывая на неё, исходил сладкой печалью, и разве что сознание мужского достоинства не позволяло мне заплакать. «Год — это не так уж и много, правда?» — спрашивала она. «Конечно», — соглашался я. И хотя мы оба прекрасно знали, что Сашенькин дед взял бабушку с ребёнком (её матерью) после того, как, вернувшись из плена, узнал, что законная жена, получив известие о «пропавшем без вести» муже, от которого понесла, мы даже и мысли не допускали, что наша любовь может не выдержать испытания временем. «И давай сразу договоримся: что бы ни случилось, ничего друг от друга не скрывать». Стало быть, она всё же допускала, что может что-то случиться. Но, опять же, с

чьей стороны? Лично я в себе был абсолютно уверен. И когда, наконец, бабушка кликнула её домой, ненадоедливо повторяя одно и то же: «Ну всё, пошла», Сашенька ещё какое-то время трясла мою руку совершенно не идущим к месту, исключительно товарищеским рукопожатием.

Утром она уехала — и мир для меня превратился в пустыню. Я перестал заниматься спортом и целыми днями привидением слонялся по начавшему желтеть лесу. Как такового леса было не так уж много, и довольно часто он прерывался просторами сжатых полей. Когда-то мы ходили сюда кататься на соломе. Заберёшься на высоченный стог, подберёшь под себя охапку соломы и вихрем мчишься вниз, как с зимней горки. Иногда за этим занятием нас заставляли объездчики, и мы едва успевали скрыться от погони в лесу. Теперь за мною никто не гнался, но у меня было такое впечатление, что я от кого-то и куда-то всё время бегу.

Учебный год был ознаменован ожиданием ответа на моё первое письмо любимой девушке. Нелишне упомянуть о муках, которые я принял во время его создания. Даже на уроках чистописания я никогда так не старался выводить каждую букву. Свои чувства я решил выразить не напрямую, а через стихотворение.

*Август. Приближается осень,  
С тополей облетает листва.  
И погода меняется тоже —  
Не хочет дать солнца она.*

*И летят так дни незаметно,  
Скоро учиться пойдём.  
Только влюблённым хочется лета,  
Ведь у них дружба навек.*

*Этот высокий тополь  
Им знаком давно.  
Он желтеет, а с ним уходят  
Дружба, любовь и тепло.*

*Скоро придёт пора расстаться  
И, может быть, навсегда,  
Но дружбу, вместе с любовью,  
Они унесут в сердцах.*

*Останется воспоминанье  
Большой и светлой любви,  
Тех первых слов признанья,  
Что в них любовь зажгли.*

И хотя стихотворение не совсем правдивое, поскольку листва с тополей в августе ещё не облетает и не было ни только первого, а вообще никакого признанья, и всё «зажглось» само собой, без слов, зато совершенно точно передаёт моё душевное состояние.

Но уже с первого ответа на моё послание между нами образовалась трещина.

Сашенькино письмо начиналось с краткой («неплохо») похвалы стихотворения, после чего на двух страницах подробно о том, что её выбрали комсоргом класса и теперь у неё и забот, и хлопот невпроворот («извини, даже с ответом задержалась»). Избрание своё она понимала как серьёзную ответственность, высокую обязанность и даже священный долг отныне быть для всех примером. Увы, на фоне моего ироничного отношения к комсомолки всё это выглядело карикатурой. Иначе любовь моя с первого письма пошла вразрез с Сашенькиной идейностью. Я не только не разделял её взглядов, но на фоне моих представлений о любви они казались мне просто смешными. Была, правда, подаренная на прощание, несмотря на плохую приметку, что, собственно, для неё, как комсомолки, не имело никакого значения, фотография, с которой я засыпал и просыпался. Часами разглядывая Сашенькино изображение, я не мог совместить столь милого лица с идейным медногласием её писем. Она писала о несознательных членах отряда, тогда как я именно к такой несознательной когорте оболтусов принадлежал. В то время когда мне хотя бы между строк хотелось прочесть нечто отдалённо напоминающее («они студентами были, они друг друга любили»), она писала о собраниях, о нарушениях дисциплины, о работе с несознательными членами коллектива. С кем-то она там всё время боролась, кого-то постоянно старалась откуда-то вытащить, чем-то общественно полезным нагрузить, тогда как я всеми правдами и неправдами от этого отлынивал. Если бы она писала хотя бы о погоде, я бы её понял. Но из месяца в месяц получать... даже и не письма, а какие-то заметки из комсомольско-

го «Прожектора» было выше моих сил. Не удивительно, что ни одного стихотворения я больше так и не сочинил.

Иначе, как только Сашеньку загнали в идейное русло, она постепенно перестала для меня существовать как человек. Её казённую мораль трудно было списать на детскую наивность, как никак, а всё-таки десятый класс. В то время даже в школе к нам относились как к взрослым, которых уже не надо было опекать. Нам позволялось то, чего не позволялось больше никому. Например, свободно проходить через кордон дежурных сквозь ожидавшуюся у дверей начала уроков толпу учеников младших классов. Дежурные пропускали нас, почтительно отступив назад. Весь год мы чувствовали себя некой элитой, с которой школе вскоре придётся расстаться навсегда. Двоюродная Сашенькина сестра на этот случай даже где-то откопала песню.

*В тихом городе ветер кружится,  
Свет в окошках давно погас.  
Побеседуй со мной по-дружески,  
Дай мне руку, десятый класс.*

*Здесь, влюблённые, до рассвета мы  
Не смыкали счастливых глаз.  
Мы делились с тобой секретами,  
Наша юность, десятый класс.*

Влюблённым, да ещё до рассвета, нам гулять тогда ещё не позволяли, но только об этом были наши мечты. И только об этом хотя бы в иносказательном виде мне хотелось видеть в письмах от любимой девушки.

А вместо этого читал:

«Если бы ты знал, как я презираю предателей! И не только предателей Родины, но и предателей вообще! В глаза говорят одно, а за глаза другое. Это подло! Этого прощать нельзя! С такими людьми даже здороваться не надо! Таким надо прямо в глаза говорить: «Ты поступил подло! Ты подлый человек! Я тебя презираю!» А иначе ничего и никогда мы не построим. Мне говорят, что я слишком много на себя беру. А я отвечаю: «Кто-то же должен говорить правду! Не только жить, но поступать надо всегда по совести!» И вот что я тебе хочу сказать. Я долго думала над твоим индивидуализмом. Я не разделяю твоих

взглядов, но я не могу их не уважать, потому что это твоё убеждение. И совершенно согласна с тобой в том, что жизнь отдать или чему-то посвятить можно только по убеждению. Когда нет убеждения, страдает главное. На своём месте я бы только честных и принципиальных учеников в комсомол принимала. И даже во всеуслышание заявила об этом. Зачем порочить ряды, допускать в них карьеристов? От этого страдает главное. Не хочешь быть комсомольцем — не надо. И без тебя обойдёмся. Но ради справедливости не закрывать дорогу в учебные заведения. Пусть учатся и видят, как живут настоящие комсомольцы. А так получается, наприимали кого попало, и они все дело портят. Кому это нужно? Не разделяешь взглядов — вон из комсомола!»

И в самом конце:

«Прости, опять я о своём. Как ты, как учёба, пишешь ли стихи, что у тебя новенького?»

А новенькое было совершенно из другой оперы. Вместо программных произведений по литературе мы с Грачёвым, соседом по парте, тайком читали номера «Вестника русского студенческого христианского движения» за 1970 год, добываемые откуда-то его старшим братом-студентом — он, собственно, и заразил младшего всем этим, а тот — меня.

В № 97, например, на третьей странице была помещена фотография жизнерадостно улыбающегося Солженицына, со шкиперской бородкой, которому недавно была присуждена Нобелевская премия, а у нас шла травля. И об этом знали все, а вот что присудили не в простой день, как сообщалось во вступительной статье Никиты Струве, а в день памяти преподобного Сергия Радонежского, как и о самом преподобном, я узнал впервые из этого «Вестника». В том же номере я впервые познакомился со стихами Мандельштама. Особенно поразившее меня стихотворение даже переписал, не открывая имени автора, для Сашеньки. Интересно было, что она по этому поводу скажет. Приведу его чуть ниже, а пока выпишу то, что заинтересовало меня. Выписываю только мысли, не называя авторов статей.

«Что наиболее характерно сегодня во внутренней жизни России? Нам думается, начавшееся пробуждение самосознания...

Интеллигенция как на наковальне: вверху ап-



парат насилия и лжи, внизу — агрессивная по отношению к культуре и свободе «масса»...

Масса живет не своим умом, но теми идеями, которые выделяет культурная элита. От её самосознания и её ценностей зависит будущее России...

Главная цель интеллигенции может заключаться только в целостном Возрождении России. Не в реставрации старого порядка, не в простом свержении коммунистического режима, но в истинном освобождении от поработившего нас до самых глубин душ наших зла, в восстановлении духовных начал нации, в воссоздании для неё возможностей быть подлинно христианским народом...

...Коммунистическая власть есть не внешняя сила, но органическое порождение русской жизни, средоточие всей скверны русской души, всего греховного нароста русской истории, который нельзя механически отрезать и бросить...

Коммунистические представления о должном и запретном распространились и стали всеобщим нравственным стилем жизни. Ослабление социального пафоса и признание в качестве идеала жизненное благополучие привели к усилению эгоцентризма и разобщению, к резкому росту аморализма и преступности.

...Атеистическое государство приводит к созданию сверхсистемы, из которой полностью исключена свобода, не какая-либо из частных свобод: совести, слова, собраний, которые исчезают с момента её возникновения, а свобода как таковая. Личность во всех планах своего общественного проявления попадает в чётко отлаженный и не зависящий от неё механизм чистой необходимости. В нём она даже теряет сознание своей собственной унижительной несвободы, теряет сознание, что она есть только средство для непонятной внечеловеческой цели, слепо осуществляемой общественным механизмом. Этому способствует всеобщая ложь, которая стала нормой существования».

Из всего этого для себя мы с Грачёвым сделали только один вывод: мы никому ничего не должны, а сами по себе. И, понятно, ни строчки из этого я не переписал для Сашеньки. А вот стихотворение переписал.

*Пустует место. Вечер длится,  
Твоим отсутствием толим.  
Назначенный устам твоим  
Напиток на столе дымится.*

*Так ворожащими шагами  
Пустынницы не подойдёшь;  
И на стекле не проведешь  
Узора спящими губами;*

*Напрасно резвые извивы —  
Покуда он ещё дымит —  
В пустынном воздухе чертит  
Напиток долготерпеливый.*

Она ответила, что «ничего из стихотворения твоего не поняла. Неужели сам сочинил? Для чего так туманно выражаешься? Первое было и проще, и понятнее. Подозреваю, что ты просто попал под чужое влияние. Бери пример с Пушкина. У него всё просто и понятно».

Но Пушкина я тоже не уважал. И всё по той же индивидуалистической причине. Но написать об этом прямо не решился. Написал лишь, что «если бы поэзия исчерпывалась одним Пушкиным, скучно было бы жить». На что получил громоподобный ответ: «Да как ты можешь так говорить о Пушкине! Это же — Пушкин! Кто-то из великих даже сказал, что Пушкин — наше всё! Всё! Понимаешь?» Но я отказывался это понимать. Как это — всё? А я? А мой сосед по парте? А другие что, ничего не значат? По Сашенькиному мнению выходило, что «значат, но куда меньше, чем Пушкин». И этим меня ещё больше оскорбила.

Вторая мировая война началась из-за деда Шукаря. Как раз мы «Поднятую целину» проходили. И я выразил мысль, что самый умный из всей шолоховской книги — дед Шукарь, что Нагульнов — просто дурак, Размётнов — типичный приспособленец, а Давыдов — кроме всего прочего, ещё и подлец. «Это надо до такого докатиться — с женой друга переспать!»

Ответ пришёл аж на пяти страницах. Переписывать не буду, потому что ничего нового для себя не открыл. Почти слово в слово из программных сочинений по литературе: «Направляющая и руководящая роль партии в романе Шолохова «Поднятая целина». Тьфу!

В ответном послании, понятно, я выразился более обтекаемо, для большей убедительности приведу слова тети Таи, разумеется, не назвав её имени, что в кулаки самые работающие угождали, а раскулачиванием занимались дебилы вроде Нагульнова, и ничего в крестьянском деле не понимающая заводская шпана вроде Давыдова.

В ответ пришло: «Расстреливать за такие слова мало! Так своей знакомой и передай!»

Разумеется, я не передал. Ещё чего не хватало! Может, ещё и отца с матерью заодно расстрелять? Они с тётушкой были одного мнения. Ну, и меня в придачу — я тоже их мнение разделял.

Третья мировая началась из-за фашизма. Вернее из-за того, что я сталинские порядки посмел с гитлеровскими сравнить. Мысль эту я выловил из того же «Вестника». Не напрямую: «коммунизм и фашизм — одно», а что-де очень похожие системы Сталин с Гитлером создали. И хотя на личность Ленина я не покушался, иначе бы уже не обыкновенная, а атомная война началась, всё равно вызвал очередное цунами.

«Неужели ты не понимаешь, что на неизбежность самого справедливого на земле строя замахнулся?!»

А я никак не мог понять, при чём тут строй, когда речь идёт о несправедливости в общечеловеческом масштабе?

Молчание длилось чуть не месяц. И я даже подумал, уж не попала ли под чью-нибудь оккупацию Астрахань и нам об этом, как о начале войны с Германией, из политических соображений не сообщают? Но нет, пришло-таки послание.

«Я долго думала и пришла к выводу, что ничего хорошего из нашей переписки не получится. Я не понимаю, или ты специально надо мной издеваешься, или ты на самом деле такой. У меня даже в мыслях не укладывается, как можно с такими взглядами жить! Это же просто аморально! Неужели ты этого не понимаешь? Или меняй свои взгляды, или я прекращаю с тобой все отношения!»

И вот я думаю, как быть.

Сию пору по часу за письменным столом — и то урону, то опять поставлю перед собой Сашенькину фотографию. Размышляю: «И почему красивые такие упёртые?» Было такое впечатление, что в груди у Сашеньки не простое, а железобетонное сердце. Из-за чего, собственно,

прекращать отношения? Из-за каких-то слов? Мало ли кто и чего скажет! И из-за этого крушить любовь? А может, она меня и не любит вовсе? Может, она просто шефство надо мной взяла, а как увидела, что ничего путного не получается, так и пинка под зад? Вон даже расстреливать собралась! Интересно, а расстреляла бы? И я пришёл к выводу, что во времена ЧК шлёпнула бы, глазом не моргнув. И решил откровенно написать ей об этом.

Думаете, четвёртая мировая началась?

Я тоже так думал. А в ответ пришло: «Не говори глупостей! И при чём тут любовь? Любовь не из одних чувств состоит! Если бы из одних только чувств состояла, чем бы мы отличались от животных?» И вправду — ничем. И всё-таки я стоял за независимость во взглядах. Можно, писал, и не спорить. Живут же люди в одной семье с совершенно разными взглядами. Хотя бы в нашей семье. Отец, например, считал, если у государства не украдёшь, то и не проживёшь, и со спокойной совестью вставлял плёнку в счётчик, а мама его за это всё время осуждала, но плёнку не вынимала. Даже когда он говорил: «Не нравится — вытащи». А она ему: «Сам вставлял — сам и вынимай. Ещё не хватало, чтобы я этим занималась». И по другим поводам они радикально расходились. Например, отцу из-за порядка, из-за снижения цен на продукты, из-за дешёвой водки нравился Сталин, а маме из-за простонародной справедливости — Ленин. И что им теперь — разводиться? Это даже и обсуждению не подлежит. Вот если бы отец за кем-нибудь приударил — тогда понятно. Но из-за партийности и антипартийности — это же просто смешно. И я в мягких чертах написал об этом. Тем более, Сашенька сама уверяла, что уважает мои взгляды.

Молчание на этот раз длилось больше месяца. А потом пришло: «Да, я это писала. Но я же не знала, что ты додумаешься до такого. Всему же есть предел. А у тебя его, похоже, нет. И что теперь — всю жизнь ругаться? И потом, мама твоя не секретарь комсомола, не секретарь партийной организации. А посмотрела бы я на неё, когда бы она хотя бы на моём месте один день побыла. И потом, кому много дано, с того спросу больше. И когда столько хамства вокруг, хочется, чтобы хотя бы близкие люди тебя понимали и поддерживали. А они наоборот — только предадут».

И всё равно я не мог лечь под её убеждения.  
И вот опять сижу, производя экзекуции с фотографией. Всё никак не могу решить — пасть мне или не пасть?

## 12

**И**пал. Но не специально, а как-то само собой получилось.

И произошло это на новогоднем бале.

Поскольку о нашем романе не только в нашем классе, но и по всей школе ходили слухи («Аж из самой Астрахани подцепил!»), если бы кого и надумал пригласить на танец, был бы неправильно понят. Но белый танец снимал с меня все подозрения.

И хотите верьте, хотите нет, но как в песне, «красивая и смелая» взяла и всей школе назло «дорогу-то и перешла». Иначе: на виду у директора школы, классных руководителей, секретаря комсомольской организации и целых четырёх классов прошла через весь зал и пригласила меня на белый танец.

И после этого я виноват?

Положим, от такого везения я чуть не спятил! То прикоснуться к слабому полу не смел, а тут... Ну и понеслось, поехало... Тебя как звать?.. А тебя?.. Ты из какого класса? Что-то я тебя раньше не видел... Видно, не в ту сторону смотрел... И всё в таком роде.

Оказалась из девятого класса, с гордо вздёрнутой головкой, светленькая, в коротенькой юбочке, на каблучках. А глаза — просто синь поднебесная! Утонуть можно! Что со мною, кстати, и произошло. До того аж, что только с ней одной до конца вечера и танцевал — кроме быстрых танцев, разумеется. А потом провожать пошёл.

Таковыми глазами Фокеша на меня ещё никогда не смотрела! Даже мороз по коже пробежал! Но я уже катился под гору — не остановить. Тем более, оказалось, что синеокой я уже давно приглянулся, да «ты всё не знай на кого смотришь». Я не стал уточнять, почему ни на кого внимания не обращал. Не знает — и ладно, глядишь, за первую любовь сойдёт. Ведь четыре раза уже до этого влюблялся! Позор!

Но самое главное — мы с ней даже поцеловались! Как-то так, не пойми как, ткнулись сначала

носом, а затем зубами — и друг над дружкой расхохотались.

— Ладно, — сказала, — пойду, а то мама сейчас выбежит. Видишь, занавеска шевельнулась? Ну что, спасибо, что проводил, а то я такая трусиха!

А я сказал, что темноты не боюсь — по статусу индивидуума не положено. И хотя идти было далеко, почти от конца соседнего посёлка, я преодолел расстояние как во сне. И когда проснулся дома, в первую очередь достал Сашенькину фотографию и спросил:

— Что, дождалась?

И даже показалось, что не такая уж она и красивая. Лишь бы, думал, обман с рук сошёл, поскольку синеокою пришлось заверить, что до неё ни с кем я не дружил. Думал, проедет. А не проехало. Сразу же после новогодних каникул всё стало известно. В том числе и Сашеньке.

Таким образом, я оказался между двух огней.

Как из такого положения выкрутился?

Куда теперь деваться? Расскажу.

Сначала произошла война с синеокой. На этот раз — настоящая. За такой наглый обман она дала мне при всех пощёчину. А будь женой, может быть, даже убила. Зачем же этого дожидаться? Пускай других убивает. Их много, а я один.

Потом пришло письмо от оппозиции.

«Я так и думала, что такие, как ты, ещё и не на такое способны! И тебе не стыдно — писать одно, а делать другое? А ещё — индивидуум!»

Что я ответил?

Да ничего. Еще не хватало перед всеми оправдываться. Или у меня голова казённая, лупи — не своя? И до конца года, всем женским населением школы презираемый, я наслаждался одиночеством.

## 13

**А**к началу выпускных экзаменов неожиданно дружно зацвёл заброшенный сад. Старые яблони, всю зиму неприятно поражавшие корявым уродством, неузнаваемо преобразились. На них больно и радостно было смотреть. Такими же ослепительно снежными в дни выпускных экзаменов казались фартуки и бантики наших одноклассниц.

Но ещё до начала экзаменов, в день последне-

го школьного звонка, в доме Сидика Умярова наши родители позволили нам устроить первое праздничное застолье с вином. Чем окончилось застолье — припоминаю смутно, зато хорошо помню начало. Не понимаю, для чего надо было вино, когда мы и так были до нервного озноба возбуждены. Разумеется, были тосты, и все как один жизнеутверждающие. И таким плёвым после выпитого вина представлялось покорение предлежащих вершин. Не помню, о чём именно говорили, но говорили так громко и, главное, все сразу, что совершенно ничего невозможно было понять, и тем не менее все прекрасно друг друга понимали. Затем всё как бы стало отходить в сказочную нереальность и, наконец, совершенно потухло в памяти.

А вот выпускной вечер высвечивается от начала до конца. После торжественного вручения аттестатов мы вышли на улицу, чтобы сфотографироваться с учителями в последний раз, а потом для нас в спортзале запустили бал, так сказать, «на сухую». Но, прекрасно зная об этом, мы заранее сложились с ребятами и, улучив момент, сбегали к тому же Сидику Умярову. На этот раз всё происходило непразднично, впопыхах, в сарае. Быстренько разлили, выпили, что же касается закуски, всю обратную дорогу до школы усиленно жевали дольки резиновой конской колбасы. Насилу, помнится, её проглотил. Задержавшись ещё на малое время за оградой сада, как взрослые, покурили «в себя», и, когда нас окончательно развезло, с ощущением разлившейся по душе удали бурно влились в хаотично танцующий зал. Сразу же ринулись девичьи пары разбивать и никаких отказов уже принимать не хотели. Потом бегали добавлять ещё, и кто-то даже отключился, а затем всем классом потащились на станцию железной дороги, чтобы ехать на Нижегородский откос.

Ехали на последней электричке. По прибытии на Московский вокзал узнали, что Канавинский мост, оказывается, для движения транспорта на всю ночь закрыт на ремонт. И уже ничего не оставалось, как только двинуть пешком, а идти надо было в верхнюю часть города сначала вдоль набережной, в сторону протянутой чугуном идиолом руки, затем через вспыхивающий ослепительными «зайчиками» сварки тёмный Мызинский мост, потом вдоль трамвайных пу-

тей, мимо нарядной Строгановской церкви, по тогдашней Маяковке, а ныне опять Рождественке, заключённой в плотную стену старинных многоэтажных домов, с выходящими на улицу витринами ювелирного, радиолюбительского, спортивного магазинов, входами в аптеку, оптику, предварительную кассу железной дороги и даже Театр комедии. Завершало шествие стеклянное кафе «Скоба», за ним, на той стороне Почаинского съезда, на площади у разрушенного Предтеченского храма, когда-то было положено начало судьбоносному ополчению на Москву. Начинаясь от северной стены разрушенного храма узенькая улочка довела до нижнего входа в краснокирпичные стены Нижегородского кремля.

И когда, наконец, через обширную кремлёвскую территорию, преодолев крутой затяжной подъём, мы поднялись на площадь Минина, меня поразило огромное количество собравшихся у памятника Чкалову празднично одетых выпускников. Помимо стоявшего говорильного гула, в воздухе ощущалось тревожное возбуждение, какое бывает в театре перед началом представления. Чтобы не потеряться в толпе, мы инстинктивно сбились в кучку. И я с жадным любопытством всё вглядывался и вглядывался в незнакомые лица. Не знаю почему, но все они казались мне совершенно от нас, пригородных, отличными. Было в их поведении больше раскрепощённости, что ли. И в то время когда в одном месте что-то пели под гитару, в другом заразительно смеялись или дружно хлопали в ладоши. Кто-то, придерживаемый за руку, ходил по брустеру смотровой площадки за спиной подсвеченного прожекторами Чкалова. Кого-то качали.

До восхода было ещё далеко, и другой берег реки едва угадывался в тёмном провале, а вот ближний, к которому спускалась широкая каменная лестница, был обозначен гирляндой уличных фонарей. Площадь Минина поражала призрачной пустынностью. Два института (медицинский и педагогический), которые кому-то из собравшихся предстояло покорять, находились на ней. Тогдашняя Свердловка, а ныне опять Большая Покровка проглядывалась насквозь, но второго кумира, давшего название тогдашнему городу, не было видно.

Вдоль могучей кремлёвской стены шелестели на ветру старые липы.

На откосе, обыкновенно, дожидались рассвета. И когда, наконец, зацвело васильковым разливом небо и обозначился подёрнутый чешуёй величественный речной простор, сначала повисло безмолвие, даже дыхнуть было страшно, а потом кто-то крикнул: «Солнце встаёт!», и воздух мгновенно прорезало победоносно торжественное «ура». Минут пять, если не больше, все только и делали, что кричали, свистели, прыгали, кружились, толкались, хлопали стоявших рядом по плечу, гонялись друг за дружкой вокруг толпы.

И когда окончательно занялось удивительно погожее утро, стали потихоньку расходиться: кто по лестнице к набережной, кто по площади к останковкам, а мы, войдя через Дмитриевскую башню в стены Кремля, тою же дорогой спустились вниз. Сфотографировались на скамейке. И, наконец, добравшись, опять же пешком, до вокзала, едва стоявшие от усталости и бессонной ночи на ногах, на первой электричке уехали домой.

По дороге от станции Фокеша сказала мне с укором:

— Эх ты, такую девчонку прозевал!

Но я всё равно не расплакался.

Что касается дальнейшей учёбы, так получилось, что в тот год только Лёня Плетнёв да Сидик Умяров из ребят нашего класса поступили в институты, а нам, неудачникам, кому этой осенью, а кому следующей весной предстояла армия, службу в которой я, во всяком случае, не воспринимал как священный долг, а как роковую неизбежность.

Первым в начале ноября проводили на службу Славу Кургузикова, помешанного на спорте одноклассника, весной — меня.

На мои проводы пришли не все одноклассники, но всё-таки большинство. Я выпил лишнего и пересылку едва пережил. Казалось, так плохо с похмелья мне никогда не было. И я то лежал на голых нарах, то слонялся по огромной территории за железной оградой, которую, как в Дахау, облепили толпы сочувствующих. Кто бы знал, как я ждал своих, в надежде, что привезут хотя бы бутылочку пива, и они, оказывается, приезжали, потолкались у ограды, поспрашивали обо мне, но так и уехали ни с чем.

Потом нас увезли в сержантскую учебку, после которой нам предстояла рассылка даже за границу.

Армия — школа суровая, не мне её судить, тем более что и среди людей в погонах было немало порядочных. Буквально вскоре отец познакомился с прапорщиком из хоззвода, который за угощение охотно предоставлял нам свою комнатку, когда родители приезжали меня навестить. А один раз даже в самоволку с приятелем удалось сбежать. Разумеется, с разрешения сержанта и с неременным условием привезти в знак благодарности «пузырь с закусью». Всё необходимое для самоволки хранилось под половой доской в учебном классе — брюки, рубашки, башмаки. Вида самого неприглядного, хуже не бывает. Но и такой одежке мы были рады. Куда без неё?

Двенадцать километров до трассы преодолели где бегом, где на четвереньках. Вышли, наконец. Дождались проходящего автобуса и примерно через полтора часа были на Московском вокзале. До дома добирались с двумя пересадками, и мне всё казалось, что все вокруг на нас косо смотрят. Сами посудите: лысые, абы в чём и вели себя в высшей степени ненатурально. Всё же добрались.

Отец сразу выставил бутылку водки, а мама всё не могла решить, радоваться ей или переживать, однако на стол накрыла, и мы с приятелем так набрались, что я даже не помню, каким образом очутился на танцах. Народу была тьма. Помню, что вместе с людьми качалась танцплощадка, но никто, кроме меня, почему-то не падал. Меня подымали, усаживали на лавку, но я хотел танцевать и падал снова. Как оказался дома — не помню.

Утром во время купания я сначала внимания не обратил на лодку, неторопливо плывущую по нашему пруду, когда же лодка подошла ближе, не поверил глазам: в лодке сидела Сашенька с Катей, подружкой, ещё одной местной корреспонденткой, ревниво следившей за моей нравственностью. Не виделись мы ровно два года. И первое, что приятно удивило, когда Сашенька с Катей вышли на берег, что я хоть и ненамного, но всё-таки выше её ростом. Приятель полными зависти глазами наблюдал за нами со стороны.

— Ну, здравствуй, что ли, — сказала Сашенька насмешливо.

И голова моя опять поплыла. Выхолощенный дурацкими письмами образ сразу ожил.

— Здравствуй!

Сашенька укоризненно покачала головой.

— Видела тебя вчера.

— На танцах?

— Нет. Ты же знаешь, на танцы я не хожу. Видела, как тебя под белы ручки с них домой вели. Мы гуляли с Катей. Смотрю — ты. Глазам своим не поверила: сказали — в армии.

— Разве не видно?

Я провёл ладонью по лысой голове.

— В увольнении?

— В самоволке.

Сашенька снисходительно усмехнулась.

— Да-а, исполнительностью ты никогда не отличался.

— А так бы не увиделись.

Она посмотрела вдаль и, стараясь придать лицу совершенное безразличие, сказала:

— Можно подумать, ты этого хотел.

— Может, и не хотел. А как увидел и...

Она встряхнулась. Спросила:

— Когда назад?

— Через час. Проводишь?

И она, как бы преодолевая себя, спросила:

— Катя, проводим нерадивых солдат до останки?

И вот мы идём в сторону останки. Приятель с Катей впереди, мы сзади. Дорога через соседний посёлок. С обеих сторон частные дома. Сады в буйной зелени, всё залито июльским солнцем. И хотя уже за полдень, стоит невыносимая жара.

Я говорю, что жалею о разрыве, что сам не понимаю, как это получилось, и вообще — круглый дурак.

— Так уж — и дурак?

— Полный!

— А как же — индивидуум?

— Да какой там!.. Глупость одна! Я уж и забыл!

Можно тебе буду писать?

— Ну что ж, попробуй.

Но из переписки ничего путного не получилось.

И хотя на этот раз с Сашенькиной стороны не было ничего похожего на школьные пись-

ма, какую-то леденящей сердце сдержанностью веяло от них.

Присланная ею по моей настоятельной просьбе фотография всем приглянулась, а вот письма просто стыдно было показать.

Все думали, что у нас там уж и не знай что, почти с десятого класса знакомы, а мы даже ни разу не поцеловались, скажи кому — не поверит, а узнают — засмеют, поэтому приходилось врать, что да, мол, было, но всё серьёзно, возвращаюсь со службы — и сразу свадьба.

Так за полтора года этой вялой переписки мы ни до чего и не договорились. Ждёт она меня или просто так пишет — понять было невозможно, хотя я как только ни намекал на окончательное выяснение отношений. И ничего конкретного до конца службы так и не получил. «Жива, здорова, учусь в университете, в комитете комсомола, всё хорошо, погода, природа, птички, одуванчики...»

И когда вернулся, не мог понять, свободен я или нет.

И в таком подвешенном состоянии, будучи пьян не столько от вина, сколько от избытка здоровья, наступившей свободы, чудесной весны, в один из субботних вечеров однажды шёл на танцы. Было темно, а улица только местами освещена. И я бы прошёл мимо, не обратив внимания, кабы меня не окликнули.

Сашенька стояла у обочины. На этот раз она оказалась ещё ниже ростом. Но главное даже не в этом, а в том, что она одна. И я, смекнув почему, попытался её приобнять, но Сашенька решительно уклонилась от объятий.

— Не надо.

Я обиделся.

— А что надо?

Она не ответила. Спросила:

— На танцы?

— Да.

Сашенька вздохнула и, глянув на меня как на пропащего, сказала:

— Ну и иди...

«Ну и пойду!» — огрызнулся я про себя. И, не понимая, как это со мной случилось, повернулся и ушёл. Шёл и думал, куда тебя, дубина стое-росовая, несёт? Остановись! Но так и не остановился. А там и понесло...

В конце лета Катя, одноклассница, захлёбыва-

ясь от радости, сообщила, что Сашенька вышла замуж аж за потомка немецких баронов. Зачем, спрашивается, тогда приезжала? Хотя...

Осенью, вернувшись с Сахалина, женился Женя. Невесту нашла тётя Тая, а то он всё ни на ком остановиться не мог. Я был на свадьбе. Но, несмотря на общее веселье, грустил: вот и Женька уходит во взрослую жизнь. Следующим летом была Сенина свадьба. Потом женился я.

И думал, что с Сашенькой мы уже никогда не увидимся. Время от времени из того же источника до меня доходили слухи о её головокружительном возвышении. Чуть ли не секретарём обкома комсомола после окончания института стала.

А потом всё это видимое государственное могущество стало трещать по швам.

И вот уже шаром прокатилась по стране горбачевская перестройка, пал Союз, была запрещена компартия, осуществлён тщательно спланированный расстрел «Белого дома», ещё не закончилось, но уже подходило к концу десятилетие государственной ельцинской малины. Я, наконец, встав на твёрдую почву православия, все девяностые годы вместе с семьёй и многими моими знакомыми переживал религиозный подъём. По всей стране буквально из руин поднимались храмы, открывались мужские и женские монастыри, обретались мощи, на наших глазах исполнялись древние пророчества...

И в такое непростое время мы неожиданно встретились с Сашенькой на том же самом тротуаре, только днём. Два взрослых семейных человека. Сашенька была в пору последнего женского цветения — смуглый загар, завитые чёрные волосы, украшенные дорогой заколкой, уверенный взгляд. Я даже подумал: «У нас без перемен». Но перемены всё-таки были. Я знал от той же одноклассницы, что одним росчерком президентского пера была перечёркнута вся её жизнь, всё, чем она дорожила, во что верила, на что возлагала большие надежды, на чём, в конце концов, было основано благополучие её семьи. Может быть, поэтому разговор шёл сбивчивый — так, с пятого на десятое. Но под конец Сашенька всё-таки спросила:

— Слышала, верующим стал?

— Да. А что?

— Да так, ничего. Сейчас многие в церковь ходят.

— А ты?

— Захожу иногда по пути на работу свечку поставить. А ты действительно веришь в загробную жизнь?

— Да.

— И что все рано или поздно воскреснут?

— Верю.

— А я уже ни во что не верю. Мне кажется, во мне места живого не осталось после того, что с нами со всеми сделали.

— Слышал, секретарём обкома комсомола была.

— Была.

— Где теперь?

— Работаю в одной сомнительной организации. А ты?

— И я — в сомнительной.

— Ну что, за что боролись, на то и напоролись?

— Я не боролся.

— Да нет, ты как раз и боролся.

— Я ни о чём не жалею.

— Да?.. Ну что ж, счастливо оставаться — так, кажется, в таких случаях говорят?

— Счастливого пути.

— Спасибо. — И, видимо, насилию преодолев себя, сказала: — А я ведь тебя любила!

Три года назад узнал, что Сашеньку бросил потомок немецких баронов, что у неё рак груди, но, поскольку она сильная, с болезнью своей мужественно боролась. Всё это рассказала мне опять же Фокеша, а точнее, почтенная Валентина Алексеевна, когда я последний раз приезжал навестить родителей.

И, наконец, этот звонок.

## 14

Часам к пяти лить и греметь перестало, но ветер, казалось, с ещё большей силой продолжал крушить и ломать всё, что можно было сокрушить и сломать.

Когда подъехал на своём стареньком минивэне к школе, буря почти утихла. Небо поражало разливом заката. И если бы не валявшиеся тут и там обломанные сучья тополей, сами тополя, обрамлявшие бывший сад, ничто бы не напоминало о недавней буре.

Школа была уже не та, какую помнил. К ста-

рому двухэтажному зданию, если смотреть с дороги, «цэобразно» пристроили с двух сторон, через одноэтажные проходы, спортзал, столовую под ним и ещё один трёхэтажный учебный корпус. Старое здание было построено в 1940 году, а до этого учились в поповском, как его у нас называли, доме. Одно время, до строительства деревянного, где потом устраивали наши танцевальные вечера, там был спортзал, затем школьная библиотека. Когда я пошёл в первый класс, рядом со школой ещё действовал детский дом. Через год в это одноэтажное деревянное здание перевели начальную школу. Помню детдомовцев. Точнее, один момент. Кто-то в ужасе крикнул: «Детдомовцы!» И я увидел, как из дверей детдома вывалилось несколько высоченных разухабистых парней в рубашках нараспашку. Очевидно, это была гроза местной шпаны.

Посёлок, где находилась школа, был соседним с нашим и в первые годы учёбы казался краем географии. Это уж потом, когда брат Женя показал дорогу до станции, мы стали ходить сюда не только для того, чтобы «пускать под откос вражеские поезда», но и плющить на рельсах гвозди для изготовления ножичков, кататься на поручнях электричек. Точнее, всего один раз я провисел на поручнях одну остановку. Как удержался — не знаю, но пальцы готовы были вот-вот отцепиться. Теперь я с благодарностью думаю, что сохранил Господь, а тогда, чуть живым ступив на платформу, дрожа от страха, очумелый, на первой же электричке вернулся назад. Володя преданно ждал меня на платформе, а подстрекатели поспешили убраться восвояси — мы, дескать, если что, ни при чём. Уж эти подстрекатели! Не один раз они уже подбивали и подло бросали меня во время походов за скороспелкой в общественный сад, на гороховое поле, во время катания со стогов на соломе, всякий раз, завидя объездчика, не предупредив, незаметно исчезали, а я по-прежнему рабски тянулся к ним, как тянется к взрослой компании всякий подросток. Это только в песне поётся, что «школьные годы чудесные», на самом деле это далеко не так.

Зашёл за угол школы посмотреть, сохранился ли старый спортзал. Не сохранился.

И пока стоял, к школе, паркуя у остатков забора бывшего сада, превращённого потом в огром-

ное, ныне брошенное поле, всё подъезжали и подъезжали легковые машины. В основном иномарки. И в этом заключался особенный шик — бывшим ученикам хотелось блеснуть успехом, хотя всё это, скорее всего, приобретено либо в кредит, либо на последние гроши. Порою всю жизнь из кожи вон лезут, чтобы выглядеть не хуже других. И это было первым, что подтолкнуло к размышлениям.

Вторым стало то, что никого не узнаю. Только тех, с кем было более близкое общение. Кого не видел 30 лет, не узнал. Узнал только некоторых из учителей. Из нашего выпуска пришёл один Слава Кургузиков. Его я тоже не сразу узнал. Смотрю, идёт бритый налысо дед с рыже-седой бородой. Давно уже, конечно, не Слава, а Вячеслав Гаврилович, а по привычке, всё Слава да Слава. И он всех зовёт по прежней школьной привычке: Сидик, Курбатик, Стёпа, Фокеша, а она, как я уже сказал, давно Валентина Алексеевна, работала и учителем, и заведующей детским садом, ныне пенсионер. У самого Славы, как выяснилось из разговора, дети и внуки такого же возраста, как и мои. Он по-прежнему не пьёт, одержим спортом и жадной справедливости. Бога, как и прежде, для него ни в каких постулатах не существует. Обмолвился, между прочим, что год назад навещали первую учительницу: ей восемьдесят три, она в ясном уме, всех вспомнила, в том числе и меня. Я изъявил желание её навестить, и Слава сказал: «Можно. Только давай до огородов». Договорились на следующей неделе. Он всех обзвонит, договорится с Анной Ивановной.

Я между делом спросил: «Ты какого направления — патриот или демократ?» Ответил: «Я — спортивного». Давно на пенсии по вредности, но ещё работает в дорожной компании, купается до морозов в своём маленьком открытом бассейне, ходит босиком по снегу, почётный донор России, дома большое подсобное хозяйство, всё лето — в работе, только зимой, поздней осенью да ранней весной, сказал, есть немного свободного времени. Сказал ещё, что «Кривдин ушёл». Я не понял, переспросил. Ответил: «Умер. Но, видимо, младший брат помог. Дело тёмное. Вместе бомжатничали, не просыхали».

В коридоре первого этажа, там, где до ликвидации детдома был наш первый класс, когда-то,



между дверями в классы, напротив окон, стояло три стола с густо облепившей их толпой. Пока пристраивал пальто в раздевалке 9 «а», то есть родственного мне класса, и причёсывался, всё не мог понять, что эта толпа там делает. И первая, кого увидел из учителей, была Валентина Васильевна Чернобровкина, преподававшая нам физику, потом она была директором. Я пошёл, поздоровался. Она меня не узнала, подошедшей Светозарской, кажется, сказала: «Это...» И назвала меня по фамилии. Та ответила, что помнит меня только на экзаменах.

Я записался и поднялся в спортзал.

Среди организаторов — смятение: нет света. Слава сказал: всю ночь бушевавшая буря повалила тополь возле его дома на электрические провода, «с одиннадцати часов чинят».

Решили начать без света. Сначала пел хор, точнее, жалкие остатки от него, певицы-народницы с дряблыми шеями и трясущимися головами, глаза ввалились, синие носы висят над увядшими, ярко на помаженными шамкающими беззубыми ртами — не совсем так, конечно, но приблизительно. Затем плясали дети. Потом всё-таки начали. Ничего не было слышно, когда, наконец, дали свет. Заработали микрофоны. Шум стал стихать. Выступающие постепенно овладели залом. И, однако, я заметил, как потихоньку стал он пустеть. По очереди поздравляли выпускники разных лет. Один класс даже вышел с гитарой, спели: «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались...»

Пока перед нами шло это действие, Слава рассказывал, как ездили к первой учительнице. Потом вместе с дочерью и внуком выступал сам. Подняв на лоб, как это делают сварщики, очки, развернув могучими рабочими руками измятую бумажку, читал стихи собственного сочинения. Я спросил: «И давно этим балуешься?» Улыбнувшись, ответил: «Да-авно-о». Потом вывели пионеров, не скаутов, а настоящих пионеров с красными галстуками. Похоже, видя всеобщее разложение, учителя цепляются за что-нибудь. Затем на экране показали фотографии героически погибших в Афганистане и в Чечне бывших учеников. Из нашего выпуска не погиб никто, но уже ушли из жизни двое, вторая — Валя Корзырева.

После вручения подарков все с шумом поднялись и стали расходиться.

В спортзале завели танцы, и на них осталась одна молодёжь. Мы со Славой спустились вниз. Проходя мимо столовой, я не сразу сообразил, что вход в неё никому не запрещён. И, глянув через открытую дверь на сидящих за столами, прошёл мимо, к раздевалке, думая, что банкет заказан заранее. Взял своё лёгкое осеннее полупальто. Слава сказал: «Подожди» и куда-то исчез на полчаса. И всё это время ко мне по одному стали подходить знавшие меня по прежней жизни.

Подошла Сашенькина подруга, та самая Катя, некогда ревниво следившая за моей нравственностью. Её фамилию я, оказывается, забыл. Начала Катя с того, что поведала о том, как Сашенька, измотанная болезнью, недавно сказала единственной дочери, что «устала быть сильной». «Муж бросил её и уже девять жён поменял», — прибавила она, презрительно усмехнувшись. Я спросил: «А у тебя есть дети?» Ответила: «Дочь. Мы вдвоём». Стало быть, родила так. И, похоже, не особенно этим огорчена: столько неприязненной иронии было вложено в слова о Сашенькином муже, том самом «потомке немецких баронов», которым они когда-то передо мной шеголяли. Судя по их тогдашнему максимализму, не так-то легко было им с Сашенькой подобрать достойную партию. Катя как бы хотела сказать: уж лучше одной, чем с такими, как потомок немецких баронов, как я тогдашний и вся остальная непостоянная половина человечества...

Появился Слава, я попросил Катю, когда будет звонить, передать привет Сашеньке, и мы следом за исходящими толпами вышли на улицу.

— Жаль, что больше никто не пришёл. Даже Хаймин. Друг называется, — сказал я.

Слава предложил позвонить. Дозвонились. Володя обрадовался.

— Не думал, что приедешь.

— Ага, соблазнил, а сам носу не кажешь.

— Через пять минут буду.

Слава сказал, что надо бы внучат до дому проводить, и я предложил подбросить их на машине.

Дорога туда и обратно отняла не больше семи минут.

Когда вернулись к школе, Володя уже стоял у подъезда. Обнялись. Я едва узнал друга детства. Нет, конечно, я узнал бы его и через сорок лет, а

сказал так потому, что Володя сильно сдал. Казалось, он больше всех из нас постарел. В глазах что-то мутное. Поколотила, похоже, судьба. Впрочем, кого она обошла стороной? Я спросил:

— Что у тебя?

— А, — махнул рукой, — подагра. Не знаешь, что такое?

— Отложение солей. Хочешь чудесный рецепт? Дешёвый и доступный до смешного.

— Ну.

— Каждый день натошак съедай по чашке не-солёного варёного риса.

— И всё?

— И всё.

Слава предложил отметить встречу. И когда мы вошли в столовую, я понял, что сюда, оказывается, пускают всех. Устроили тут что-то вроде буфета. И были не только закуски, но и вино.

— Чего будем?

Слава сказал: «Я сок». Я был за рулём. И Косте ничего не оставалось, как присоединиться к непьющей компании. Взяли по небольшой коробочке яблочного сока, открыли, чокнулись, потянули через соломинки. Слава стал объяснять, почему не пьёт.

— Первый раз напился на выпускном. Помнишь?

— Что?

— Почему я с вами на откос не поехал.

— А ты разве не ездил? Неужели — из-за этого? Вот тебе и спортсмен!

Усмехнулся:

— Спортсмен... Мать даже не узнал! Проснулся в сарае. Темно. Вышел. Иду. А мать навстречу. «Что, говорит, меня потянуло — не знаю. Гляжу — ты идёшь. Остановилась. А ты будто и не видишь меня». Второй раз с первой полочки напился, когда из армии пришёл, мужикам с работы проставлялся, и тоже ничего не помню. С тех пор только после сдачи крови — немного сладкого вина.

И он стал рассказывать анекдот:

— Ползут между рельсов трое. Один говорит: «Какая лестница-то длинная!» Второй: «А перила-то какие низкие!» А третий: «Мужики, смотрите, лифт спускается!»

Мы высидели до той минуты, пока буфетчица не попросила освободить помещение.

Пройдя через длинный коридор, останови-

лись напротив стенда с фотографиями учителей. Повспоминали.

Наконец вышли на улицу

Когда мимо нас прошли три женщины, Слава пожелал одной из них счастливого пути. И вдруг стал рассказывать, что переписывался с ней во время службы, а служил, оказывается, на подводной лодке.

— И что? — спросил я.

— Мать была против, письма мои не передавали.

— И что?

— И всё.

Глаза наши встретились — и объяснять больше ничего было не надо. Слава спросил:

— А у тебя было тут с кем-нибудь?

— Ещё как!

— И тоже ничего?

— И тоже ничего. Но я об этом не жалею.

— Да и я не жалею. Обидно, правда, немного.

— А мне стыдно.

— За что?

— Не знаю. Какое-то чувство неизбыточной вины.

— Странно.

— Да, странно. Я на всё это, в том числе и на школьные годы, смотрю как с другой планеты. После армии какое-то время ещё встречались, с Грачёвым дружили, на дни рождения он ко мне несколько лет подряд приходил, а потом, как будто напололам земной шар разломали, и мы оказались на разных полушариях. Это в старших классах я игнорировал сбор макулатуры, а в третьем или в четвёртом, помнится, в одном доме сдали учебник немецкого языка, так я с месяц из комнаты не вылезал, язык изучая. Мечтал в 145-ю школу перейти, к тётке Тае, она там тогда учила. Не помню, почему не получилось. Может, из-за того, что надо было ходить через железнодорожные пути, мать меня не отпустила, не знаю. А купание лошадей! А ночные рыбалки!

— И ты всё помнишь? — спросил Володя.

— После того как ты позвонил, не перестаю вспоминать.

— Говорят — признак старости.

— Что?

— Когда молодость вспоминаешь.

Я спросил:

— Слав, скажи, прыгали мы из этого окна? — стояли мы как раз напротив окон нашего класса.  
— Как Саня Аникин прыгнул — я помню. Но что-то сдаётся, прыгали потом и мы. Прыгали?

— Прыгали.

— А зачем?

— Чего-нибудь полегче спроси.

— А мы с тобой зачем землянку посреди леса вырыли? — спросил Володя.

— Да ещё вход замаскировали, — подхватил я.

— И ни за что бы не нашли, если бы ты не поленился лишнее бревно положить.

— Поленился... Ты помнишь ли, откуда мы их таскали?

— Из стройгруппы.

Слава поинтересовался:

— Лес — в лес?

— А что ты удивляешься? Чтобы стуком топоров не привлечь внимание врага.

— А-а.

— И самое главное, никто сначала не догадывался, что тут землянка. Увидят: «Эх, кто это тут песку свалил?»

— И не догадались бы, кабы ты не поленился лишнее бревно положить, — не упустил случая укорить друг детства, как будто это было вчера и он всё не мог простить мне такой халатности.

— Слышишь, чего говорит? Ты лучше расскажи, кто брёвна таскал. Этот хмырь, Слав, по дороге в лес умудрился ногу осколком от бутылки распахать, оттого что всё лето разутым ходил, не как ты теперь, для здоровья, а от нищеты, и во время строительства только и делал, что сидел да мною командовал — неси, принеси...

Сидеть в этой землянке было равносильно сидению в погребе. Мы сразу поняли, что это совершенно не то, что мы привыкли видеть в кино про войну. Даже для игры в партизан она была непригодна по причине темноты и неустроенности. Братская могила, да и только. Даже не склеп. В ней и пяти минут без света невозможно было высидеть. Но и свет от лучины или маленького костерка не прибавлял уюта. На улице, на свету было несравненно лучше. И мы вскоре потеряли к ней интерес, заходя иногда поглядеть как на бессмысленную забаву. И всё это друг за был. Я не стал его разубеждать.

Слава предложил:

— Ну что, по домам?

И мы с Володей его отвезли.

Потом я отвёз Володю.

## 15

Весны ещё не было и в помине. Тридцатое апреля по календарю, а деревья и кусты стояли голые, даже свежей травы не было видно нигде. Серое небо, холодный сырой ветер, в неприглядном просматриваемом насквозь березняке по обе стороны трассы тут и там торчали шапки грязного снега.

На дорогах шли работы по латанию выбоин. К сожалению, только латали, на серьёзный ремонт ввиду затянувшегося кризиса денег, видимо, не хватало.

Когда объезжали спецтехнику, сидевший рядом со мной Слава попросил посигналить. «Зачем?» — «Чтобы видели, на какой крутой машине я еду». Это было забавно слышать — моему минивэну двенадцать лет. Для машины возраст немалый, но... ведь она же импортная, а стало быть, крутая.

На двух рядах задних сидений ещё семь человек: Валя Фокеева, Люся Орехова, Вера Кротикова, Марина Дугина, Надя Кошелева (разумеется, у всех другие фамилии), Володя Хаймин и Валера Курбатов. И это все, кого удалось собрать. Отговорился от поездки неотложными делами Сидик Умяров. Нина Корнева не поехала из-за больной матери. Остальные — не могу сказать, по какой причине не смогли поехать, не спрашивал.

Фокеева всю дорогу не закрывала рта. И это знакомое ещё со школьных времён щебетание было приятно слышать. И когда Слава заметил: «Кеш, ты никому слова не даёшь сказать», она тут же, с не сходящей с её полного лица извиняющейся улыбкой, стала оправдываться: «Всё, молчу. Я и Веруне, дочери, дала слово, буду молчать. Даю, сказала ей, честное слово, а сама...» И тогда я сказал: «Слав, ну что ты, в самом деле? — И, полуобернувшись: — Валь, не слушай его, говори. Ты даже не представляешь, какую радость доставляет мне тебя слышать». — «Правда? Тогда буду говорить. Разумеется, если больше никто не желает».

— Ладно уж, — кивнул головой Слава, — говори.

Она спросила меня:

— А ты помнишь, как я тебе всё время кудри расчёсывала?

— Ещё бы! Поэтому я, братцы, без волос.

— Это он на комплимент нарывается! Слав, сними с него шапку. Видите? Ни одного седого волоса.

— Порода, — счёл необходимым пояснить я. — Маме восемьдесят два — и тоже ни одного седого волоса.

— А кудри в кого?

— В проезжего цыгана, — вставил Слава.

— А ты всё знаешь?

— По моей лысине разве не видно?

— Насмешник!

— Насмешник... Я про свою лысину даже стихотворение сочинил.

— Ну-ка, ну-ка!

И он прочёл:

*Тебя я холю и лелею  
За то, что вшей я не люблю,  
А бороду за тем не брею,  
Что Дед Морозом быть хочу.*

— И что, не берут?

— Берут-ут.

— В самом деле, девчонки, он уже лет шесть или семь бессменный Дед Мороз в нашем детсаде. А у меня такой интересный случай, я вам сейчас расскажу, был...

И она стала рассказывать очередную историю из своей на удивление богатой учительской практики. А я и не знал, что учительствовала она не только на селе, но даже в Грозном, хотя, судя по её рассказам, Грозный в те времена был совсем не грозен. Потом рассказала, как они с мужем купались в море и ей из-за полноты стыдно было находиться рядом с ним, и когда услышала разговор двух женщин о том, какая у этого мужчины великолепная фигура, а у него действительно хорошая фигура, потихоньку смылась с пляжа, а когда муж спросил, почему ушла, сказала, что голову напекло, а сама подумала: «Фигя тебе скажу, почему ушла».

Минут через двадцать мы были в двух шагах от цели, да необходимо было ещё заскочить в магазин, чтобы купить продуктов к праздничному столу — о подарке ко дню рождения, разумеется,

уже прошедшему, Фокеева позаботилась заранее, оставалось только собрать деньги с остальных, что и было тут же исполнено, пока скидывались на продукты. Забыл сказать, что даже сквозь радость встречи с одноклассниками сердце моё наполнялось горестным удивлением от несходства того, что помнил, с тем, что в первую минуту увидел, — так все постарели. Наверное, таким же предстал и я. Наш классный алхимик Валера Курбатов вообще походил на сухонького седенького старичка. Все одноклассники заметно пополнили, и некогда самая стройная из них, первая из всего класса надевшая короткую юбку, чтобы однажды поразить нас своей фигуркой, Люся Орехова лишь с моей помощью смогла подняться в салон. Вера Кротикова, Марина Дугина, Надя Кошелева, в отличие от неё, и то не так располнели. И всё-таки это были уже не те девчата, фотографии которых я рассматривал в ту бессонную ночь. Ещё бы — столько лет прошло! Но это было только первым впечатлением. Вскоре даже через видимые наслоения лет стала проявляться та неповторимая духовная сущность, которая делает узнаваемыми людей через любое время. И только Надя Кошелева оказалась мне почти такой же, какой была в школе, а голос вообще остался таким же певучим и звонким, каким его запомнил, — великолепный природный вокал. Я даже спросил: «Не поёшь?» Она когда-то даже пела в вокально-инструментальном ансамбле. Махнула рукой: «Куда там!» И стала рассказывать: «А помнишь, как ты три раза подряд в первом или во втором классе одну и ту же песню пел?» — «Я?» — «Неужели не помнишь? А я так хорошо запомнила. Анна Ивановна спросила как-то: «Ребята, кто знает какую-нибудь русскую народную песню?» Все молчат, ты один руку тянешь. «Спой». Ты встаёшь и поёшь первый куплет «Калинки». «Молодец, садись. Может, ещё кто чего вспомнит?» Все молчат, а ты опять руку тянешь. Анна Ивановна спрашивает: «Другую?» Ты говоришь: «Другую». — «Ну, пой». А ты второй куплет запел. Ладно, выслушали, на место посадили. В третий раз Анна Ивановна спрашивает: «Неужели больше никто ничего не помнит?» Все опять молчат, ты один из кожи вон лезешь, да ещё клятвенно уверяешь, что будешь петь другую, а сам третий куплет запел. Неужели не помнишь? Так было смешно».

Когда свернули на проспект, я попросил подсказывать, куда ехать. Проехав пару кварталов, мы свернули в узенькую улочку, с домами с одной стороны, и за вывеской «Почта», через арку, въехали во двор.

Выгрузились. Но дверь в подъезд оказалась запертой, а кода никто не знал.

— Анна Ивановна! — крикнула Фокеева, подняв голову. — Вон её окна и балкон на пятом этаже. Давайте все вместе покричим!

Но в это время из двери вышел жилец, и мы гуськом вошли в подъезд. На лестнице некоторым опять дали себя знать годы. Поэтому, пока одни не торопясь, с отдышкой, поднимались, другие были уже у цели и звонили в дверь.

Понятно, возгласы удивления, узнавания, охи, ахи, объятия, поцелуи. Из-за тесноты коридора на лестничной площадке образовалась очередь. Не знаю, что со мною случилось, но я не то чтобы боялся, но всё не решался войти и, пропустив всех, вошёл последним. Когда передо мною предстала маленькая седенькая старушка, но с удивительно милыми и знакомыми чертами лица, сердце моё дрогнуло — столько искренней радости выразило её лицо. Было такое впечатление, что я для неё самый дорогой гость.

— Ах, ты мой!.. — и она назвала меня по имени.

У меня даже в носу защипало. Будучи заключённым в старческие объятия, я почувствовал себя таким же маленьким, каким ступил на порог первого «а» класса.

— В церкви, слышала, трудишься. А я в церковь, сразу тебе покаюсь, почти не хожу. И годы, и здоровье, и не приучена с детства. Да и работа, и время, сам знаешь, какое время было. А вот иконы в доме держу. Молитвослов есть. Так я в основном дома молюсь. Может, и так зачтётся. Или нет?

— Да что вы, в самом деле, передо мной исповедуетесь?

— Не зачтётся?

— Молитва? Конечно, зачтётся. «Я помилю всякого, — сказал Господь, — кто хотя бы однажды призовет имя Господне».

— Всего один раз? Вот не знала! Ну, спасибо!

— Да за что?

— За всё! За всё спасибо! Молодец! Раздевайся, проходи. Это надо же, а, всего один раз — и по-

милует! Надо Ренате Ивановне сказать. Помнишь Ренату Ивановну?

— Ещё бы!

— Валя, позвони Ренате Ивановне! Велела! Сказала, как приедут, сразу звони, прилечу. Это она так выражается. На самом деле еле ноги передвигает. Где только ни лечилась, куда только ни ездила — ничего не помогает. Так она, душа беспокойная, дома себе работу нашла — в страховой компании. Как, говорит, приедут, сразу звони. Уж больно хочется ей на вас на всех посмотреть. Нет, я ей про это обязательно скажу. Всего один раз — и помилует, а! Это же надо!

И, покачивая седенькой головкой с короткой, по плечи, как и в школьные годы, стрижкой, она направилась на кухню, хотя делать ей там было совершенно нечего.

Поскольку кухонька была маленькой («хрущёвка»), приготовлением закусок занялись трое, остальные расположились в большой комнате, которая была одновременно и спальней, на тахте, в креслах, Кургузиков с Хайминым занялись устройством стола. Люся Орехова, Надя Кошелева и Вера Кротикова, устроившись на тахте, смотрели привезённые ими же, а также приготовленные для такого случая Анной Ивановной фотографии.

Прежде чем сесть за стол, я предложил спеть «Многая лета». Это было принято без возражений, но петь пришлось одному, и пока пел, видел, что принималось это, в общем-то, обычное церковное поздравление как нечто необычное, из чего я заключил, что из воцерковлённых среди одноклассников нет никого.

Разумеется, я и стол перекрестил.

Сели. Разлили по стопочкам красного полусладкого вина. Фокеева попросила выдержать паузу и прочла замечательное стихотворение, суть которого заключалась в том, что мы, дорогая Анна Ивановна, всегда будем помнить то, что вы для нас сделали, благодаря вашей любви, вашей заботе мы стали теми, кто мы теперь есть.

Потом прочитал похожее стихотворение Валера Курбатов. Славино стихотворение отличалось со школы знакомым, присущим его натуре юмором.

Потом каждый по очереди кратко рассказал о себе — это уже после того, как появилась Рената

Ивановна, в самом деле, с некоторым трудом передвигающаяся, как выяснилось, из-за позвоночной грыжи, а вот внутренне, душой, всё такая же бодрая, и глаза, как в юности, живые. Помню я, какой это был на общественном поле деятельности ураган.

По завершении кратких исповедей перешли к воспоминаниям. Вспомнили покойного дядю Лёшу Фокеева, Валиного отца.

— Мама говорила (у них же до нашего появления своя жизнь была): если бы мне тогда кто-нибудь сказал, что я выйду за него, за папу, замуж, ни за что бы не поверила. В нашем старом клубе... Кто-нибудь помнит наш старый клуб?

— Ещё бы! И магазин!

— Так после сеанса папа на сцене, на табуретке, чечётку выплясывал! Потрясающее зрелище! Хулиган был отъявленный! И вот за такого хулигана мама вышла замуж.

— А по нему не скажешь, что хулиган.

— Ну! После женитьбы он сразу остепенился. Не поверите! Все ночи напролёт книжки читал. От бессонницы. Не спится ему, встанет — и до утра читает. А потом мне всё пересказывал. И читать не надо было.

— Он же на экскаваторе работал?

— И что?

— Нет, просто. Я в том смысле, что на экскаваторе.

— И не на обычном, а без кабины.

— Помню, холод, дождь, снег, а он едет, и рожая вся красная!

— А когда кому-нибудь что-нибудь сделает и его спросят: «Ну, чего тебе за труды?» Ответит: «Ни-ичего не надо. А дай ты мне 62 копейки, а чтобы не потерять, заверни-ка их в трёшницу».

— Понятно: 3.62 бутылка водки стоила.

— И когда ему новый экскаватор подогнали, загвару всё выговаривал: «Иван Никитич, что ты наделал, мне же в нём дышать нечем».

— А вы знаете, что наше хозяйство состояло, в основном, из лишенцев и раскулаченных?

— Знаем, конечно.

— А я не знала.

— И я.

— И жили сначала в бараках.

— До середины шестидесятых годов, кстати.

— Это в третьем — до середины шестидесятых, а в седьмом — до конца семидесятых.

— Рената Ивановна, а вы после нашей школы где работали?

— В Доме пионеров. Потом в школе.

— А знаете, с каким увлечением они в Доме пионеров работали? — подхватила Фокеева. — Даже в обморок падали! Приезжает «скорая», говорит — голодный обморок!

— В войну?

— В наше время! В какую войну? В войну нас ещё не было. Такими их поколение было оптимистами. Ни у кого ничего не было, жили бедно, а радости — целый вагон. Они трудились за идею.

— Тогда за поколение военных лет, за оптимистов!

— Мы к этому поколению принадлежим?

— Наполовину.

— Мне кажется, вы ошибку делаете: надо картошку с винегретиком — так здорово! А ты, Валь, что не ешь?

— Она своё уже отъела.

— Ну, Славка!

— Зато она говорит красиво!

— Ну да, у неё все силы на разговоры уходят, поэтому есть не хочется.

— Я тебе бороду выщиплю!

— Для подушки?

— Для остратки!

— И всё-таки школа, ребята, это подвиг. Ежедневный. Взяла журнал, тетради и пошла. Каждый день — передовая.

— А вы не знаете, почему мне всё время снится колодец, куда мы за водой ходили? Снятся вёдра, вода. Не знаете — почему?

— А мне бараки снятся. В третьем, помню, татарочки жили. Однажды мне ногу вывихнутую вправили.

— А старый магазин, помните, какой вкусный был?

— Ещё бы!

— А витрины из закруглённого стекла! Плитки шоколада лежали, сушки ванильные, фруктовый чай — 17 копеек, кофе прессованный — 7, 9 и 11 копеек, помните? А шербет! Мама нам покупала. Мы побегаем, побегаем с сестрой, отломим кусочек, съедим.

— А Тимофея Фёдоровича помните?

— Карманова? Ну! Главный фотограф!

— И шутник. Рассказывал однажды, как летели они на самолёте и попали в снеговые облака.

Самолёт застрял. Хорошо, говорит, лопата была. Я, говорит, вылез, снег быстро раскидал, и дальше полетели.

— Я почему про Тимофея Фёдоровича-то вспомнила... Помню, морозы были сильные. Утром мы до школы как-то добежали, а туда за нами лошадка приезжала. Мы плюхнемся в сани, в сено — и нас везут. Тимофей Фёдорович распоряжался. Вот какая забота была!

— Потому что все были как родные.

— И не только поэтому. Русскому человеку нужна вера в разумность того, что он делает. Развал нынешний от того, что у нас эту веру отняли. Прежнюю идею отняли, а новой не дали. Мы стремились к лучшей жизни для всех — и слабых всегда брали на поруки. Слабых и беспомощных на произвол судьбы не бросали.

— Верно, идея была справедливая.

— Я уже второй раз слышу про идею. Это какая же — идея? Коммунизм, что ли?

— А что — коммунизм? Плохо ли, когда всем хорошо?

— Да разве всем хорошо было?

— Мне — хорошо.

— И мне.

— И нам, и нам...

— Это только вам с Грачёвым было плохо.

— Нет, и нам было хорошо. Даже несмотря на идеологию.

— Да какая идеология? Живёшь — и живи.

— То есть как это — какая? Вы что, забыли?

— Что?

— Как людей за вредительство, за шпионаж, за антисоветчину сажали?

— При нас — не сажали.

— Как это? А диссидентов?

— Да их всего пятнадцать человек на весь Союз было. О них и не слышал никто.

— Я, например, одного только Солженицына знаю. А разве были другие?

— Говорю же, пятнадцать человек.

— Это известных — пятнадцать. А неизвестных?

— Да недовольные всегда были. И при царе, и при советской власти, и сейчас.

— Это вы о ком?

— Об оппозиции.

— А я верю нынешней власти. При Ельцине было хуже.

— Зато демократия была.

— Какая демократия? Бандократия была.

— Нет, ребята, раньше всё-таки лучше было, справедливее.

— И даже несмотря на это, я не хочу в прежнюю жизнь.

— А я хочу.

— Кургузиков с Курбатовым даже на митинги ходят.

— Не на митинги, а на митинг — в честь Дня Победы, — поправил Слава.

— Кладите, пожалуйста, курочку вместе с картошечкой.

— А как чудили! Один раз Вера Николаевна поставила мне единицу на всю страницу. И это вот за что. Были у меня одни пятёрки да четвёрки. Я думаю: у других и двойки, и тройки, а мне одни пятёрки да четвёрки ставят. Ну и накуролесила в задании. Вера Николаевна поняла и закатали мне единицу на всю страницу. Я как увидела — прямо обомлела. Ну и решила: домой не пойду. Смотрю, знакомая воспитательница из детсада идёт. Подбегаю, обнимаю её, говорю: можно я у вас ночую? «А мама что скажет?» — «Я ей уже сказала, что буду у вас ночевать». Получается, двоих уже обманула. Ну и всю ночь, понятно, не спала. Да ещё часы у них огромные такие были с маятником и боем. Так этот маятник и бой я на всю жизнь запомнила. Тетрадку я попросила подружку маме отнести. Мама как увидела единицу во всю страницу — и сразу всё поняла.

— Значит, ты с детства заводная была?

— Не заводная, а активная.

— А вы помните «Парад смекалистых»? Нам тогда даже прислали из «Пионерской правды» фотоаппарат. Как победителям. Неужели не помните? А «Зарницы»?

— «Зарницы» помним. Одни крепость из снега защищали, другие штурмовали.

— А после седьмого класса тётя взбаламутила меня поступать в техникум. Надо, говорит, тебе в автомеханический. Лида вон окончила — и её в Минск послали. И тебя могут в Минск послать. Приезжаю в техникум, там разные экспонаты стоят. Я так перепугалась. Го-осподи, думаю, куда это меня толкают? И пошла по математике без подготовки отвечать. 14 лет, самоуверенная такая. И какую-то ошибку допустила. Поставили тройку. А конкурс был. Тогда поступали в основ-

ном хорошисты и отличники. А у меня 3, 5, 5. Одного балла и не хватило. Прибегаю домой радостная: «Мама, я не прошла!» А тут подруга взбаламутила в ремесленное идти. Я маме шепнула: на штукатуру, мол. Папа услышал — никакого училища!.. Кулагину кто помнит? Она потом в горкоме комсомола работала. Потом секретарём обкома была. В общем, приходит она к нам домой: в чём дело, спрашивает, почему не в школе? В ремесленное, говорю, собираюсь. Никаких ремесленных — иди в школу! И так я сначала пионервожатой, а потом учительницей стала.

— Дорогие мои, внимание! — сказала Фокеева. — Я Ренату Ивановну всегда называла няней, потому что она нас с сестрой вынянчила. Няня относится к военному поколению, к тем, кто родился в войну. Это военное поколение. У них повышенная жизненная сила. Столько испытаний им выпало, но они только закалили. Ты, няня, человек самодостаточный, оптимист. Я предлагаю выпить за оптимистов, за тех, кто своей энергией зажигают всех!

- Хорошо хоть не сжигают...
- Перестань!
- Что значит перестань? Скажите, вы работали за что?
- За совесть.
- Это не ответ.
- Ну почему не ответ? Не всё же измеряется деньгами?
- Это теперь всё измеряется деньгами.
- И теперь не всё.
- А почему вы сказали, что теперь идеи нет? А христианство?
- Какая же это идея? Это образ жизни.
- А разве этого недостаточно?
- По-моему, достаточно.
- А по-моему, нет.
- Не понимаю, чего тебе не хватает? Жена, дети, внуки. Чего тебе ещё?
- Радости не хватает.
- А мне хватает. У меня всю жизнь — радостный стиль.
- Да смысл у всех один, только слова разные.
- И какой, интересно, это смысл?
- Справедливость.
- Да ведь всё равно погрём!
- Ой, напугал!
- Не напугал, а констатирую факт. Мужики в

механбазе, когда я их спрашивал, почему пьют, знаете что отвечали? Всё равно, говорят, подыхать. Вот! От страха пьют. А ты — напугал. Да и кто смерти не боится?

- Верно. У нас как в сказке про мужика. Тащит мужик вязанку дров, из сил выбился, бросил на землю. «Ух, — говорит, — хоть бы смерть пришла!» — А она: «Вот я. Чего тебе?» — «Да мне, — говорит, — вязанку дров поднять».
- Последний раз, кстати, нас тоже всех смерть собрала. Валю Козыреву хоронили — помните?
- Первая, кстати, из нашего класса ушла.
- И почти все пришли на похороны.
- Меня только не было.
- Да ты у нас всю жизнь одиноличник.
- Нет, я тогда был весь в себе. Молился больно шибко.
- А теперь?
- А теперь не шибко, но молюсь.

## 16

— Минуту внимания! Задаю коварный вопрос: есть счастье?

- Нет.
- Есть.
- И я считаю, что есть, — подхватила Фокеева.
- И даже историю одну сейчас расскажу. Когда мы заканчивали институт, я говорю: девчонки, давайте купим серебряные колечки на память, чтобы после института друг друга вспоминать. Купили. А вскоре Катя Белова пишет: приезжай на свадьбу. Дом, пишет, напротив сельсовета. Я пришла на почту телеграмму давать. Написала. Подаю. «А адрес?» Я говорю: «Дом напротив сельсовета». На меня так посмотрели... странно. Но телеграмму всё же приняли... А была у нас Валя Сыско, у неё были такие мелкие черты лица, и от этого выглядела она моложе своих лет. Когда мы приезжали картошку копать, все, глядя на неё, думали, что нам трудновоспитуемого подростка дали на поруки. К тому же мать ей старое пальто давала. И вдруг она первая из нашей группы заявляет: девчонки, выхожу замуж. Мы так обрадовались! Приходим в военторг. Так, мол, и так, подруга с курса у нас замуж выходит, надо фату, перчатки, туфли. Продали нам. И мы, дуры, фату эту все померили, а нельзя было ме-



ритель... И сорвалась свадьба! Она с парнем дружила. Был праздник престольный в его деревне, он переспал с девчонкой, и его заставили на ней жениться, иначе — тюрьма. Мы на свадьбу готовимся, юбками, кофточками обмениваемся, а свадьбы и нет. А тогда мы на Ветлужской работали. И Валя назло закружила с одним деревенским. Говорит ему: поступишь в офицерское — выйду за тебя замуж. И он поступил. Проходит полгода. Пишет: извини, Валя, есть у меня невеста. Валя в полном трансе. Ну не везёт девчонке! И вот гуляем мы у Кати Беловой на свадьбе. Третий день свадьбы идёт. В деревнях по три дня гуляли. Валя с горя выпила стакан водки, сидит. Надя Сизова подходит к ней и говорит: «Подойди к свидетелю, Серёжей его зовут, и скажи, что я его в бане жду». Она подходит. «Ты Серёжа?» — «Да». — «Ты свидетель?» — «Да». — «Тебя Надя Сизова в бане ждёт». — «И ты не знаешь, зачем она меня ждёт?» — «Знаешь, — говорит, — мне своих проблем хватает». — «И какие же у тебя проблемы?» — «Хочешь послушать?» — «Хочу». — «Пошли». Ушли они в другую половину дома. Сели на лавку. И она всё ему как на духу выложила. Рассказывает и плачет, рассказывает и плачет! Он вытер ей платком слёзы и говорит: «Валь, а пойдёшь за меня?» — «А ты меня возьмёшь?!» — «Возьму». — «Если только ты меня возьмёшь, я ноги тебе буду мыть и эту воду пить!..» — «Ну, это, — говорит, — уже лишнее. Только вот что, у меня родители в аварии погибли, когда я ещё маленьким был, так я у тётки воспитывался, она мне как мать, так я поеду, всё расскажу и кольцо заодно куплю. У тебя какой размер?» И колечко-то наше как раз и пригодилось. «О, — говорит, — давай его. По нему куплю обручальное». А мать её как только не обзывала, как только не кляла! Потому, мол, тебя никто не берёт, что ты распутная. И вот приходит письмо, мать вскрывает. «Это ещё кто?» — «Жених». — «И давно знакомы?» — «Да уж три месяца как». Не может же она сказать, что всего неделю назад познакомились. Прошло какое-то время. Шлёт он телеграмму: еду, встречай. До станции шесть километров лесом. Приходит она на станцию. Первая электричка пришла, вторая — его нет. Приходит третья — нет. Я, говорит, тогда и дала рёву. А она забыла ему сказать, что платформа-то короткая, вперёд, мол, надо садиться. А он взял и назад сел. И вдруг появляется

с двумя сумками продуктов. Я, говорит, как увидела его, да как закричу! Знаете, как на похоронах иногда кричат? Он не поймёт, в чём дело, думает, что-то случилось. А она плачет! Она плачет! Так, мол, и так, думала, не приедешь. Всю дорогу, до дома пока шли, целовались! Приходят. Мать в погреб её за чем-то погнала, а его спрашивает: и давно ли знакомы? А он возьми и скажи: на свадьбе, мол. Она и понесла. Ах ты, такая, сякая, разэтакая... И тут он на неё как рявкнет: а ну молчать! Она сразу хвостик-то и поджала, заюлила: да я, да я... для дела, чтобы с пути не сбилась. Вот что, говорит, чтобы про мою жену больше ни одного слова плохого не слышал. Взглядом чтобы даже не обижала, понятно? Приехали мы на свадьбу, а мать злющая ходит. У неё лимон рос, и кто-то нечаянно обломил веточку... Ну это ладно... В общем, поженились они. Проходит два года. Надя Сизова, та самая, которая с ним судьбу хотела связать, и не получилось, говорит как-то: давай съездим в гости? А у них уже дочь. Он институт заочно заканчивает. Приезжаем. Она нам и говорит: девчонки, я так счастлива! Так счастлива! Он мне и брат, он мне и муж, он мне и отец! А нам он знаете что сказал? Девчонки, говорит, я на неё не перестаю удивляться. Столько в ней нерастраченной любви, чистоты! Потом они в Красноярск уехали. Какой-то он пост там большой занимал... Бабушку забрали с собой.

— Это злую-то?

— Да.

— А лимон взяли?

— Не знаю.

— Может, чайку поставим?

— Внимание, пока мы слушали сказку про счастье, Слава сочинил стихотворение.

— Серьёзно? А ну прочти.

И он, надев очки, стал читать:

*Всё говорят теперь не модно  
Свой день рождения отмечать,  
Да ещё так вот всенародно.  
Узнает жёлтая печать...*

*Им, журналюгам, не докажешь,  
Что скромно пьёшь и мало ешь,  
Пока мослы им не покажешь.  
Покаж свои мослы, Фокеш!*

*Но в полных всё же больше ласки.  
Они и мягче, и добрей.  
Валь, положи-ка мне колбаски,  
Полнее стопочку налей!*

*Какого толку от салата?  
Не экономь на животе!  
То не природа виновата,  
Мы просто склонны... к красоте!*

— Мне сестра говорит: какие вы молодцы! А они — представляете? — ни разу с классом не собиравались. Нет, говорит, организатора. Вам, говорит, хорошо, у вас есть батька Махно — она Славу Кургузикова батькой Махно зовёт.

— Молодцы, что приехали. Жизнь человеческая уж больно коротка.

— Когда в школу пошли, казалось — о-о-о, сколько времени впереди!..

— А как жили! На одном дыхании!

— А теперь вам что не нравится?

— Дело не в том, что времена другие. Мы стали другими.

— А я недавно видела Сашу Аникина. Похудел. Помните, какая у него шевелюра была? Теперь весь седой.

Всё это время Анна Ивановна сидела так тихо, словно её и не было. Не могу сказать, почему только у нашего класса сложились с нею такие тёплые и длительные отношения. Кроме нас, учила она и других. И когда всё замечающая Фокеева сказала:

— Анна Ивановна, а вы что молчите? Расскажите что-нибудь про нас — это же ведь так интересно!

— Ну что рассказать... Валера Курбатов, например, каждый день меня после уроков дождался, брал за ручку, и мы шли домой.

Валера со сдержанной улыбкой утвердительно кивнул совершенно седой головой. Я спросил:

— А я, наверное, чудиком был, да?

— Не чудиком, а живым. Ты был живой!

— Я вот что хотела тебя спросить, — обратилась ко мне Рената Ивановна. — На Успенье я готовилась причаститься. А накануне входит женщина в офис и говорит: «Девочки, платки шерстяные никто не покупает?» Все молчат. Она говорит: «Ну не хотите платки покупать, давайте погадаю». Все опять молчат. Я говорю:

«У православных гадание вроде грехом считается, может на детях и на внуках аукнуться». — «Ну, там ещё неизвестно, а на вас уже аукнулось. На ноги вам грязь посадили». Меня всю аж прострелило. Говорю: «У многих в таком возрасте ноги болят». «У меня, — говорит, — не болят». Говорит: «Знаю кто, знаю где, знаю, как исцелиться». Если бы мы были тет-а-тет, я бы за ней пошла. Сказала ещё: «Сделали на торжестве люди, рождённые от 15 до 28 августа». Я пошла к батюшке. Спрашиваю, как быть? А он говорит: вам надо пролечиться. Это что значит? Врачи сказали — бесполезно.

— Я не знаю, что это значит. Вы бы у него самого и спросили. Но знаю точно, что всё в руках Божиих. И по этому поводу случай один вам сейчас расскажу. Приезжает как-то ко мне двоюродный брат Женя, тёти Таи сын. Он же рыбак заядлый. И зимой и летом, и в дождь и в мороз — всё свободное время на рыбалке. И вот приезжает как-то ко мне и рассказывает. Я только-только к вере пришёл. И ему, и всей родне поначалу это диковато казалось. Кондовый же атеизм тогда вокруг царил. Приезжает пьяненький. Рассказывает. Ловил в затоне рыбу весной. Вдруг лёд стал прогибаться, прогибаться и провалился. Очутился в полынье. За край льда хватается, чтобы выбраться, а лёд обламывается. Чувствует, одежда намочла, книзу тянуть стала. И тут в колокол в Печорской церкви ударили. Затон — как раз напротив церкви. Боженька, говорит, я больше не буду. И словно кто, говорит, выкинул меня на лёд. Видите?

— Да-а, видимо, кому сгореть, тот не утонет.

— Да не поэтому! Просто Бога вспомнил!

— У нас всегда так: гром не вдарит, мужик не перекрестится.

— Анна Ивановна, а ваши родители верующими были?

— Да. Особенно мама. А я-а... Ничего не знаю!

— И я ничего не знаю, — подхватил Слава. — Меня внук попросил рассказать о Пасхе, а я сам ничего не знаю. Для меня Пасха никогда не была праздником. Ну, ходили на кладбище на Пасху, и — всё.

— А я только в вере нашла утешение, — сказала Вера Кротикова.

Я спросил:

— Вер, обижает тебя Андрей?

Махнула рукой. И на лице такое выражение — мол, даже и говорить не хочется. Иначе тема эта — сплошная незаживающая болячка.

Люся Орехова, глянув на меня, сказала:

— Ты там за нас молись.

У самой один сын, третий раз женат, внуков нет.

Фокеева спросила:

— Анна Ивановна, а вы учительствовали в нашей столовой?

— Да, с твоей мамой, четыре года. Зимой бывало так холодно, что даже чернила замерзали. Тяжёлое было время. Тогда, помню, объявили борьбу за стопроцентную успеваемость. И меня включили в этот список. А у меня учились братья Ухановы. Помните Ухановых? Старший нормальный, а младший... Входит, в общем, завуч в класс, а младший между рядов на полу лежит. Он же не понимает. Захотелось ему полежать — он и лёг. Завуч спрашивает: а это кто? А это, говорю, мой отличник... А однажды учительский коллектив, видя, что родители мне и ещё одной учительнице на Восьмое марта подарки приносят, постановили на педсовете подарков не брать. А Нина Корнева принесла большую литую игрушку. Если бы принесла маленькую, я бы сунула в карман, и никто бы не увидел. А большую я взять не могла... И обидела девочку.

И на глаза её навернулись слёзы. Водворилась тишина. А потом Фокеева сказала:

— А давайте дадим слово: каждый год в этот день собираться?

— Я — за!

— И я. И я. И мы.

И вот уже третий год как мы встречаемся у нашей первой учительницы.

В прошлом году во время нашей очередной встречи Фокеева сказала, что Сашенька умерла. И я теперь не только за неё, но и за Сашу Кривдина, и за Валю Козыреву молюсь. Вообще, за всех живых и ушедших. Каюсь: было время, когда считал одноклассников в числе погибающих, а себя в числе спасающихся, может, поэтому ни разу ни на одном юбилее не был. Теперь я так не считаю — встреча с первой учительницей убедила меня в том. И молюсь я теперь так: «Господи, прости и помилуй нас!» И ни от кого себя не отделяю.

Февраль 2011 — январь 2012

Никола-Погост

□

### **Владимир Аркадьевич ЧУГУНОВ**

*родился в 1954 году в г. Горьком.*

*Прозаик, драматург, публицист.*

*Окончил Литературный институт им. А.М. Горького*

*и Нижегородский педагогический университет.*

*Печатался в журналах «Москва», «Наш современник»,*

*«Вертикаль-XXI век», «Роман-газета» и др.*

*Автор более десятка книг прозы для взрослых и детей, а также пьес, сценариев для художественных фильмов и кукольных фильмов для детей.*

*Его романы «Молодые» и «Невеста»*

*входили в шорт-лист литературной премии «Ясная Поляна».*

*Книга «Плач Адама» вышла в финал Бунинской литературной премии.*

*В 2011 году удостоен грамоты Патриаршей литературной премии.*

*Член Союза писателей России.*

*Живет в старинном поволжском селе Никола-Погост (Нижегородская обл.).*

*В журнале «Север» публикуется впервые.*

